

АНДРЕЙ АНТИПИН



## ДЯДЬКА

ПОВЕСТЬ

### I

Когда они жили-были, небо коптели, горькую пили, а пуще робили, любили горько, пред сильным робели, но врагу не спускали, правды стыдились, над кривдой скорбели, а уж пели от сердца — гармошки рвали, а в сердцах тужили — волосы рвали; так вот и были, лихо хлебали не за полушку, не за получку пахали, на семь ртов подмогу растили; словом, не шибко жили, стариков гневил, кресты топтали, под крестик державу крепили, а себя — забывали... Однажды уходили, меркли, мёрли, мёрзли, таяли, затухали, зати-хали, падали в могилы, засеивались безвестными костями от Непрядвы до обглоданного рейхстага, да так, что и до сего, уже пожатые, стоят у ворога в горле и не дают хищникам покоя... Но вот вышел срок, и они почти все исеякли, измелели, испелись, испились, извелись на Руси, исчезли в клубящемся прахе и глубинной горечи земли... И, пустив шапку по кругу, изыщем ли нынче верные слова, чтобы поведать о них? что им сказать? да и услышат ли? и надо ли им?..

Молчат.

---

*АНТИПИН Андрей Александрович родился в 1984 году в селе Подымахино Усть-Кутского района Иркутской области. Заочно окончил факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. Публикуется в журналах "Наш современник", "Москва", "Юность", "Сибирь", лауреат журнала "Наш современник" (2010). Живет в Иркутской области.*

## II

Отец, мой дед, заклеил его “Февралём”:

— Февраль-то нага летает по деревне в одной стежёночке без пуговок, в валеночках дырявых, шапочка-п.душка на одно ушко, верхночки потерял... Мороз сорок пять градусов, а он летает... Февра-аль!

Мать, моя бабушка, называла его “Тот” или “Большой”:

— Того-то не видал?

— Какого?!

— Большого-то?! Утром глаза продрал, хлеба булку умял с жареными картошками, накурился у печки до посиненья; ну, подался огородчик полоть — и с концами! А я, главно дело, пошла воротники за ним заложить, а стрижи-то над амбаром кружат, только шубёнки заворачиваются, голову-то я кверху задрала, а жёлоба-то, парень, нету... И в какую пору успел свинтить?

Мужики окрестили его “Длинным”:

— Дак вот же Длинный на лавочке сидел! С похмела мокрый, как мышь, руки ходуном — полкоробка спичек исчиркал, пока подкуривался... Ведро сухих груздей у него, правда. Ну, Шурка-Щукарь сбежал до Хохла, загнал это ведро за пузырь, раздавили у Петрована в дровянике... Скуснотишша-а-а!

Шпана, прокурившая чинариками пальцы, и вовсе бросала ему “Миха”:

— Миха-а, помоги дырчик\* дёрнуть!

Или:

— Миха-а, слей малёхо соляры — “козу”\* поджечь...

Он вообще много прозвищ поносил на своём веку, словно подгадывая, какое ему впору, кем прожить и каким однажды аукнуться в устном присловье, которое вдруг, спустя годы и поколенья, щедро вытолкнет из своих тесных глубин некое забытое, но вполне легендарное, на семь рядов отсеянное из десятков и сотен славных других, отлежавшееся в ледниках времён и отслоившее земную шелуху имя и, сообщив им что-то сокровенное, указующее всем заплутавшим свечной огонь в их горестях и поражениях, тут же, чтоб не раскричать высокое звучание этого имени понапрасну, мудро заберёт его обратно, в усыпальницу истории, где оно до скончания рода людского пребудет нетленное и священное, канонизированное памятью, совестью и языком народа. Кроме надежды на случайное поминанье, чем ещё утешиться человеку, какое продолжение себе отсудить у смерти? Так, десятко-другой черно-белых фотографий, чиненую-распочиненную совковую лопату с отверстиями — черпать из проруби лёд, два грубо сшитых из кирзовых голенищ патронташа да самих оксидно-зелёных гильз латунный звон в тряпичном кульке, пахнущем сумраком и тленом.

Но не исцвели, не изломались, не износились до дыр и не истрелялись только клички!

В молодости его уважительно величали Медведкой — за силу. Он без помощи перебирал на морозе “ДТ-75”, любовно вынимая из его механического нутра тяжёлые части, коротким тупым ударом колуна разваливал до земли сучкастую листовую чурицу, намертво спаянную смолой, или с бронзовым напряжением на лице гнул в руке двухсотграммовую кружку — эмалировка лопалась и откалывалась кусками, а звук был такой, словно с мороза занесли в тепло заиндевевшее цинковое ведро. На селе жил только один мужик могучее — дядя Саня Кабан. Этот брал на спор банку сгущёнки и, небрежно покатав её в обычной, а вовсе не богатырской ладони, вдруг зажимал в страшно побелевших кулаках — жёсть вспучивалась, а наружу победно капало сладкое и тягучее. Ещё дядя Саня двумя пальцами — указательным и большим — плющил стальную суповую ложку. О нём и Медведке до сего слышится вот какая история. Однажды тракторную бригаду сплавили с баржой вниз по Лене, на таюрские пашни. Ну, наловили корчагами щук и сорог, выжгли ведро из-под бензина и сварганили уху, выпили “за первый

\* Мотоцикл. — Здесь и далее прим. автора.

\*\* Держатель огня для лучения рыбы с лодки.

день”. Потом “за второй”, “за третий”... Сидели, гудели в колхозной избе. Медведка крушил эмалированные кружки, дядя Саня сводил счёты с ложками, а Кетрован — безвредный усатый мужичок, помощник капитана “эскашки”, благополучно храпевшего на голой панцирной сетке, — оценил мутным глазом порчу социалистического имущества, прикинул кое-что к носу да от греха умыкнул ножи-топоры и долой на баржу, монтировкой заложил дверь в капитанскую рубку: “А то, — говорит, — как раз пойдёт поножовщина!” Драться, впрочем, Медведка не умел. Не успевал воротиться от удара. И руки его как будто не были приспособлены для этих суетливых дел. Сила — и всё! Сгрёбал по-медвежьи и держал — рубаха расплзлась на спине противника...

В юности был у него друг, тоже Мишка. Этот — Короткий. Мишка Длинный да Мишка Короткий! Потом Короткий куда-то уехал, сравнить стало не с кем, но Длинный остался, а с ним осталась и кличка...

Племяши, мы окликали его просто:

— Дядька, ты опять гуляешь?! О, горе твоей матке! — науськанные бабкой, пропесочивали его смешным баском, а он, высясь корявым большим деревом, лукаво шурился — дескать, всё ему трын-трава! — и словно пытался распознать в шумном подлеске, обступившем его, что-то значительное и стоящее, что можно было бы наградить ответом, а не шутануть тут же шутивым притопом сапога.

— Фу-у, так и есть, водкой прёт за километр! — кипело от возмущенья да подтягивало колготки сопливое собрание, о постановлении которого Дядька уведомлялся незамедлительно: — Щас бабушка тебя скалкой-то!..

Наконец Дядька выслушивал в бойкой мелюзге то, что искал, и, кривясь улыбочкой, посверкивал глазами, а голос его густел, бархатный и студёный:

— Пошёл по тридцать третьей! Только — цыц! — деду не говорите...

— Сам цыц!!!

— Смотрите у меня! Эх вы-ы, варнаки-и-и!..

Это были его излюбленные выражения: варнак (к детям), заутлан (к собакам), недобиток (к злым людям)... Вообще всё старинное, меткое, цельное, основательное интересовало его.

Есть красивая ложь в словах “часами смотрел”, “подолгу сидел на завалинке”, “мог полдня простоять” и в подобной ерунде, но Дядька именно так и жил. Да и во всём он, по бабушкиному определению, “тянул волюну”: обтаптывал ли босыми ногами грядки, гусиными шагками маршируя по вскопанному огороду, исходящему стальным холодком от каждого переворачиваемого комка с глянцевой нутряной чернотой; торчал ли с удочкой возле реки, не ломая голову над разными хитростями и предоставив рыбам право вестись на ужасную глупость в виде толстой лески и ржавого крючка; выстраивал ли Дядька, словно маленькое государство, скотный двор, а потом самозабвенно чинил его, если боров разваливал корыто или прогрызал низ у ворот; или полол Дядька картошки, выковыривая пырей и амарант заострённой щепкой, а в перерывах покуривая на опрокинутом ведре с той старательностью, с какой можно было заломать все эти работы разом... В этих-то перекурах между делом и умещалась, кажется, Дядькина жизнь, тогда как сами эти дела были точно долгим, в несколько утомительных партий, распеваньем её. Так, несколько дней он латал чердачную лестницу, сгнившую на одну ногу, на которую сочилось с крыши. Первый день ходил в лес, до обеда искал годную ёлку (на черенки, на лодочные шесты, на прожилины для забора берут ёлки, ровные и прогонистые), потом ещё полдня волок ёлку до дома, обязательно отдыхая на всякой кочке-колоде, шкурил жердину за избыть штыковой лопатой с обрубленным плоским концом, сушил заготовку на лёжках, вырезал сучки, стамеской выбивал пазы под перекладины... “Скоро уж белые мухи полетят!” — регулярно объявляясь на крыльце, как бы между прочим замечала бабушка и через перильце плескала из тазика жирную посудную воду, а Дядька, отойдя в другой угол двора, тем усерднее пристреливал глазом возводимую лестницу. Он словно упрямо постигал в любом, даже самом некорыстном деле некую высшую правду, в обход и напролом шёл к этой правде, а когда эта правда, взвихряясь хвостом, ускользала из рук,

работа и жизнь теряли для Дядьки смысл. Тогда он всё бросал к чертям, садился молча курить и мозговать над тем, почему всё это отлаженное, приточенное под руку и дыхание, вдруг накренилось и дало течь, и если в этих поисках тоже не было удачи, Дядька вконец отчаивался и на неделю-другую зашивал. Зато уж если что-то озарялось в нём и, шаркнув о рёбра, высекало короткую искру, то всё в Дядьке схватывалось единым стихийным порывом, трудно и гулко нарастало и, двигаясь к выходу деятельным добром, мощным зарядом ударяло в руки, как молния в дерево, и жизнь сама собой билась в пульсации некой свыше отворённой жилы, пёрла в руки, словно рыба в крупные сети, а разная мелочь и чепуха существования проплывали насквозь, не задевая Дядькиной души. Вязло тогда в Дядьке, в его мыслях и сердце, всё большое и тяжёлое: пахота, покос, постройка бани, налимья рыбалка...

Ретивых, подгонявших его осаживал:

— Сдуру можно хрен сломать!

Впрочем, всё вольное и широкое, что уживалось в Дядьке, то вдохновляя его, а то втыкая палки в колёса, никогда не было размашисто — кузнечья прыть, бабочкин порх и птичья щебетливость не распяливались на колдую, по которой Дядька был скроен. Наоборот, эта врождённая бедовость и славянский шаг зачались или вырезали со временем во что-то литое и грубое, давшее, в конце концов, типично русский крен Дядькиной судьбе, а многослойность и запутанность его характера можно было бы объяснить мужичьим хитрованством, когда бы сам Дядька скоробчил себе хотя бы на ширпотребовский костюм. Нет, этому, казалось бы, кичливому несоответствию в Дядьке, этому царапающемуся зазору между тем, чем и как он жил и что думал о жизни за выкуриваемой сигаретой или выпиваемой стопкой водки, было и есть одно чистейшее объяснение — укорот. Он жил с укоротом — во всём, что касалось быта; но в делах душевных ничуть не стреножил себя. Размузыкивания и смирения не терпел только в застольях! На крохотные рюмки смотрел с недоумением и, принимая их в себя, по выучке глубоко и объёмно раскрывал рот, как будто намеривался приветить что-то огромное, и когда по этому логову для огромного растекался малюсенький глоток, слегка увлажняя губы и жёлоб языка, но оставляя пасть болезненно сухой, всё в Дядьке вскипало обидой за его слоновость, которую на посмеях продёргивали в иголочное ушко:

— Опять эти “утятницы” выставили?!

Жаловался, необоримо трезвым уходя из таких гостей:

— Выпьют утиную дозу и разгова-аривают, разгова-а-аривают!

Глубокая дума исчезала с лица, и Дядька шёл “догоняться”. Лесной зверь, он называл это — копытить.

— Копытит, копытить надо идти!

И была это уже не дума, а думка — поспешная, некрасивая, жалкая. В этой слабенькой думке, как в обмелевшей реке, зияли рельефно и зримо все камни, все коряги и повороты Дядькиной иссушенной души: где занять, найти, добыть, выпросить, украсть...

### III

Дядька поднялся в обычной крестьянской семье. Бабушка рассказывала о нём: “Он ведь последний у нас с дедом из мальчишек: Санька, Колька, а уж Миша за ними... Дехчонки, Галька с Валькой, после...” В детстве он с кружкой в руке приходил в хлев, где мать на рассвете доила коровушку, объясняться-то ещё ладом не умел, а уже облагал животину налогом. Стоял сонный и хмурый в одной намятой распашонке, неловко почёсываясь от укулов больших коричневых комаров. И мать почерпывала ему парное молоко, тёплое, как отворённая кровь, и ещё не отцеженное через марлю от желтоватой пенки и круживших под выменем мошек, сбитых Майкиным хвостом в подойник. Пил, пока живот не набрякнет самоваром, а изо рта не прорастут до подбородка два белых уса. “Голый иман встанет стручком, комар сядет на него. “Бежи, Мишка, в избу, а то проклятый продрозвёрщик всё

хозяйство разорит!” Ну, бежи-ит, только пятки в сраньдю втыкаются! И смех и грех с ём...” Потом, когда стал большеенький, его брали по ягоды на Заборье: “На Заборье бугры: на одном бугре черника, на другом брусника!” И пока не замажет рот до шелушащейся мякоти на дёснах, до сладчайшей тошноты и того протекающего в душу и мозг блаженства, когда на всякий невинный потяг молодым чувственным волком взывает всё яростно-здоровое тело, — ни ягодки в берестяной туес! Будет, распластавшись под выворотнем, разумеется — у звенящего прохладного ручейка, пыхать махорочным дымом на комарью орду, обступившую со всех флангов, да вслед за выдохом жёстко стискивать зубы, чтоб навязующий на языке гудящий шар не закатился в горло, а между тем смотреть и слушать, как в закате лимонные плывут облака, и северный вертолёт, заворачивая на аэродром Усть-Кута, стрекочет над сопкой, раздувая, как волосы, деревья, под которыми обнаруживается замшелая плешь скальников, а бабы с кулацкой жадностью сопят на ягодном курене<sup>1</sup>, и эту сказочную лесную успокоенность не колеблет ни крик, ни ветер, ни треснувший под сапогом сучок, ни частый и дробный стукоток первых ягод, высыпаемых из совка в пустой горбовик<sup>2</sup>... И ещё — думать! Это были его корневые занятия: думать, но не походя, лишь бы о чём, а — прицельно, заглябно, оттирая локтями всё прочее и зряшное, с хребтиной погружаясь в это рвущее душу и сигаретные пачки дело, изредка то печально, то озорно хмыкая, да искренне улыбаться своим мыслям, да — курить...

Курить он выучился мальцом: коллективизировали с братьями пачку “Казбека” у дяди Пети, отца брата, приезжавшего в отпуск из Москвы. Нырнули в огород, за баню, чтобы мать не чухнула. Братья раз-другой затынулись да сплюнули папиросы под ноги — и на всю жизнь. Дядька свою аккуратнo докурил и, кажется, сразу постиг в этом деле — в курьбе — что-то крайне ему пригoжее, отвечавшее его натуре, тоже медленное, задумчивое, мужицкое. Он потом, отправляясь со всеми в лес, умышленно волокся в хвосте и, нащипав в газетку сухой мох, воровато шабил этот острый, царапающийся в горле, горький, как сама жизнь, и отравно горящий терпкий порошок. Или шнырял из колхозной избы, где мужики с утра получали разнарядку, и мастерил из подобранных окурков громадную козью ножку, утекал в сосняк за пашней, чтобы там, на воле, хлебнуть этого запретного дыма, этой огненной свободой не таясь, с босицкой отмашкой руки. А то он, как старик, повадился сосать трубку. Отец день-деньской пропадал на тракторных работах, мать тоже надолго отлучалась из избы то в лес на пилку дров, то на зерносклад, то на жатву в поле; словом, от зари дотемна на подхвате, с чужой головой на плечах, изредка навевывали своё хозяйство. Водиться с маленькими за божью плату призывали со стороны бабу Агафью. Эта Агафья бездетно-безмужно куковала в зимовье по Дресвяному ручью. От реколома по ледостав она служила от киренского тухачастка бакенщиком, а зимой промышляла плашками белок и соболей, пастями давила в распадке зайцев и кабарог, крупное же мясо — изюбров и лосей — добывала пулями из грубого аккумуляторного свинца, сбитого молотком в угловатый злобный шарик, который старуха прокатывала через ружейный ствол на предмет проходимости. Весь год, кошачья душа, она изымала из реки рыбу капроновыми сетками домашней вязки и посадки, кидая их по открытой воде в вадиги<sup>3</sup>, а зимой из ёлок и пихт нагораживая под вырубленным льдом запруду — поленски “заездок”. Старуха не выпускала изо рта трубку, выдолбленную из окостеневшего топляка<sup>4</sup>, и руки её, комкастые и шершавые, как у мужика, кроме разделки звериных туш и мялки подквашенных с кислым тестом шкур

<sup>1</sup> Курень, курья — редкое счастливое место в лесу или в лугу, где ягода выросла сплошь, густой полянкой. Реже так говорят о грибах, иногда — о скоплении рыбы, напр.: “налимий курень в яме”, “курья голянов в заводи”.

<sup>2</sup> Горбовик — сибирская тара (из бересты, фанеры, пищевого алюминия и др.) под ягоды или грибы с крышкой и двумя лямками для надевания на плечи, “на горб”.

<sup>3</sup> Вадига — заводь на Лене, образующаяся за преградами течения, например, за брустверами, мысами и т. п.

<sup>4</sup> Топляк — дерево, несомое рекой.

не знали иной работы. Собаки, едва старуха объявлялась в селе, гремющей сворой облаживали её в проулке, с вздыбленными холками чужа животную смерть, пропитавшую суконные штаны, в которых старуха проделывала свои чёрные делишки и вообще форсила в охотничьей одежде круглый год, и старуха, забаррикадировавшись зимой камусными лыжами, а в другое время — чем ни попадя, отстреливалась от собак палкой и жутко, смущая мужиков, ругалась: “У-у, сучье племя! Поразвелось вас в Рассеи, недобитков...” Детей она, вероятно по причине собачьей нелюбви к ней, обзывала щенками и всякий миг ожидала от них гадости, а посему посох всегда был у неё на вооружении. И когда она, ревя медведем и страшно качая зыбку с ребёнком, норовившим вывалиться за борт, наконец, убаюкивалась сама, кто-то подкрадывался к ней со спины и вырывал трубку. Баба-Яга, пробудившись, на кривых лесных ногах припрыгивала в огород, где бабушка со старшими сыновьями рыла картошки, и орала изо всей моченьки:

— Кла-арка-а, Кла-арка-а-а, м-м-мать твоя суч-чонка, кобель твой отец! Твой ш-ш-шенок беспортош-ш-шный опеть у меня трубку отнял!

— Да что ты, итти вашу мать! — ругалась бабушка, разгибаясь до помутнения в глазах, до ломоты в пояснице. — Ми-ишка-а! Кому говорю?! Чё залез на повети? Поди-ка сюда, рожа бесстыжка!

В школе Дядька петрил (понимал) в точных науках, был старательным, упорным, рисовал бодрые стенгазеты в честь красных советских дат. Но и ко всякому баловству был отзывчив, с уроков срывался с друзьями на реку, стрелял из ольхового лука по птицам и пёк в костре картошку, а то зорил в гнилом березняке вороны гнёзда. Или вешал портфель на воротчики, приходил к отцу в поле и катался с ним в тракторе, а если случалась поломка, спокойно и деловито прочищал от нагоревшего масла свечки, железным щупом измерял уровень масла или подавал нужные ключи, без прицелки разбираясь в их номерах и почти никогда не ошибаясь. Сердечная привязанность к тракторам, к земляной работе и определила Дядькину судьбу. После школы, как нарочно, он попал в танковые войска под Читой. И тоже крепко и основательно служил, с той нерасшатываемостью в мыслях и действиях, с какой присягают Родине и верят в необходимость своей солдатской жизни, своего священного отлучения от земли простые крестьянские мальчишки. С любовью к технике, к её сложнейшим механизмам, могучим и надёжным, дослужился до старшего сержанта. Оставляли при части: учись, работай! Он дал согласие, а весной 1974 года поехал в отпуск. Носился по селу, как сорвавшийся с цепи, справлял дембель, в кровь и клочья дрался с парнями возле клуба. До кучи утащил из амбара курковую одностволку двадцать восьмого калибра, записанную на отца, и через раскисшую пашню полез к уткам, которые плавали в болотине за магазином. По недогляду черпанул стволком земли, уток вспугнул, с ружьём шурум-бурумом очутился в Старых Казарках, не разделит чью-то точку зрения, его тоже не поняли, и он ради утверждения своей позиции понужнул дробью в потолок... Когда оклемался и схоронил порванное ружьё, мать восстала облаком и уж с той поры не выпускала сына из-под своей власти, сильничала над любым его своевоьем и, куда бы ни шёл, тут же налаживала слежку. Первым делом облако слетало на почту, пошущукалось с почтарками, и в воинскую часть отписали: “Не могу выехать по семейным обстоятельствам”. Дядька разгадал, швырнул в горящую печь обтянутый шинельным сукном армейский альбом с фотографиями...

Была у него после армии высокая чистая любовь — молодая приезжая учителька, которая захаживала к ним в баню. Они раз или два стояли на дебаркадере... Облако среагировало, провело разъяснительную работу:

— Зачем тебе долговязая?!

Любовь векоре вышла за местного парня, нарожала ему детей, а Дядька и эту материну обиду засёк на сердце.

Когда старшие братья женились, и этот шумный медовый пир ещё ютился в одной избе, Дядька холостячки спал в поварке<sup>1</sup>, а летом и ранней осе-

<sup>1</sup> Поварка — надворная кухня с печкой.

ню — на раскладушке под небом. Придёт вечером пыльный, как придорожный куст (он работал механизатором в совхозе), скинет грязное шмотье на лавку, намоется после всех в протопленной бане — волосы огромно-пышные, ворохи смолёвых кудрей! Лицо медно-красное, надранное капроновой вехоткой. Голубые глаза тем яснее. Нежнее мягкость узких губ. В белой и свежей, как первый снег, рубашке бродит по избе да исподлобья посматривает на тонкую задергушку, расчеркнувшую горницу на две семейные половины, на две пьющие душу тайны, по ночам раздувающие ноздри и скрипящие пружинами кроватей. Через всю столешню, боясь разбрызгать, несёт глубокую деревянную ложку с охлаждённой в яме окрошкой из домашнего хлебного кваса, хрусткой редиски, зелёного перистого лука и яичных белков, сдобренную укропом и напревшей в тепле жирной сметаной, заедает этот яркий праздник во рту высаженным из печи дымчатым караваем, стараясь не заперхаться от молодого большегорлого голода. Он робеет в присутствии невесток, к которым никак не может привыкнуть, и всякий раз идёт в дом, как в черёмуховый сад, где юно и пьяно и качаются сарафанные ветки, а от грубых и нарочно громких замечаний братьев не знает, под какую половицу запасть. Отшучивается полным ртом и до ушей заливается банным жаром, когда невестки окликают его, как маленького:

— Мишенька, тебе ещё окрошки подать?

Перед сном, разбоковавшись до майки и трусов, сидит на чурбаке у варки, выщевивая из табака загадочный, одному ему ведомый цимус. Частый огонёк алеет в черноте, а Дядька, скосив глаза, поглядывает на истлевающую сигаретную бумагу и с суеверной грустью, неожиданной в сильном и носком теле, стряхивает серебристо-серый пепелок. И думает, улыбается. И кричит в глухом ельнике кукушка. Запоздавший “Крым” рыбинспекции мчит по Лене, размерен и тягуч шмелиный гуд его мотора. А то нахлынет жёлтый свет в маленькие окошки веранды, поморгает в ночи четырьмя сокращающимися пятнами, но вдруг разорвётся одним золотым прямоугольником и, подрожав в чьей-то руке укрощённым пламенем, погаснет со стуком притворённой двери. С высокого крыльца через двор шмыгнёт ночнушка, огибая угольный рисунок амбара и поджимая ноги от стылости травы, кажется, пролезшей в щели тротуара лишь затем, чтобы лизнуть голые икры и окропить росой удаляющиеся циколотки. И Дядька, спешно заплевав окурок, с трепетом посмотрит на это вольное и бегущее, на распущенные взвётренны волосы и kloкотание грудей, вставших остро, как две вымоленные у Бога церковки на грешной земле, а пуще того со стыдобою вперится на заворотившийся сзади подол, да отведёт глаза и снова закурит. Но уже порывисто и нервно, сломав подряд несколько спичек. Опрокинется в нежилую без этого промчавшего призрака раскладушку, как в пропасть, от окончательного падения в которую его удержат брезентовый полог да дожина-другая пружин. И что-то увидит за прищуренными веками, чему-то парящему кивнёт. И откроет глаза, чуть искрящиеся, и увидит над собой одно небо, резкие и холодные звёзды. “Завтра опять день будет?” — скажет себе, и в душе его воссияет нерукотворная радость. Завтра будет сухая погода, мать спозаранку выпечет хлеб и выйдет в огородчик, чтобы накопать к обеду первые картошки со слабой розовой кожурой. Отец уже, наверное, придёт с электроподстанции, где с вечера гоняет движок, и, разматывая на крыльце длинные портянки, спросит с той неотвязчивой и кровной заинтересованностью в предмете, с какой лишь на промозглом Севере и цедят редкие слова, отведённые на душу человека в бесценном ограничении:

— Убираете?

— Убираем... — отчеканит Дядька, а спустя некоторое время с копотью и свистом заведёт своего “казаха”, которого каждый вечер стреноживает на полевом стане, чтобы истошным визгом пускача не колыхнуть рассветное дыхание невесток. И вот он везёт в поле тепло и сытость домашнего хлеба, шатание парного молока в отпительной бутылке. На ходу жадно закуривает у золотого леса и вспоминает: “Скоро уж дым из ушей повалит!” — и хмыкает над словами матери. И в глазах его, и в сердце долго и хрупко, как мальчишеская мечта, стоит женская парящая белизна...

## IV

Пахотному ремеслу натаскал Дядьку отец, “на газогенераторе заработавший геморрой и слепоту”.

Было в старике что-то былинное, легендарное по нынешним временам. В молодости он, например, один на своём “Натике” — первом на селе тракторе с зубатыми колёсами, — топившемся берёзовыми чурками, управлялся с колхозными пашнями по эту сторону Лены. По другую на такой же ледащей технике казаковал его друг-товарищ и однофамилец, а пуще всегдашний противник Пётр Григорьевич. Оба парни горячие, до всякой работы хватчие. В полдень съедутся у разных берегов реки — обмыть лицо, крикнет один: “Ну, как, Петро?” “Да так, — ответит Пётр, если слова первого не отнесёт ветром, — мало-мало кручусь”. “Я-то тебя нынешний год в запятках оставлю!” — задерётся первый. Пётр же уточнит: “Это баба с перепоя лягнула, а ты варежку раззявил!” И оба, закипев, скорее за рычаги, от зари до зари — давать план. А это много гектаров промёрзлых северных земель. Вдвоём-то скоро ли поспеешь? Мужиков же — отцов и старших братьев — поколотило на войне... Как-то попевали, хоть вкладьши на коленвале у этого “Натика” были из алюминия, а не из баббита, как теперь, и меняли их по три раза на дно: расплавлялись. Так-то жизнь и шла, словно по борозде. Скоро пахарь обабился. Пока поля по пояс в снегу, чин чинарём хозяйевал: где воды натаскать, где стайку проконопатить, а где воротчики наладить, но едва мягчала и обывивала земля, всё бросал на произвол судьбы и подцеплял плуг. И тут уж его нишчём не выпрячь: то земли пашут, то хлысты из леса тягают, а то иная колхозная обуза. В сентябре жена с ребятами наступали на огород, корявыми деревянными лопатками копали свои трудные полета соток и стаскивали под перебранку красивые мешки с картошкой, сами сушили её на последнем осеннем сутревке, шерудя грязные локанья словыми граблями, и сами через окошко в полу засыпали в погребе три сусека: на еду, скотью и на посадку. Он же и дома в эти дни бывал затемно, исчезал со светом.

Но вот подросла смена, и отец сажал за рычаги младшего, когда он приносил в поле хлеб и варёные картошки. Сам уходил под черёмуху — обедать на посланном рушнике. Строго следил, чтобы помощник не макнул носом в чирку да во сне не съехал под угор. Это уже были сравнительно манёвренные, гусеничные кони, загонишь такого — уже не вышка, но небо в тесную клеточку. И если горе-пахарь потрошил землю дуром или гнал полоску сикось-накось, а то зарывал плуг со всем ударным энтузиазмом добровольца-целинника и дбыл трактор, отец кидал чашку-ложку и трусцой человека, понюхавшего жизнь сзади и спереди, бежал через поле с крепко просоленной руганью на устах: “Каки-и-их только полоротая не нарожает!” Фирменная фуражка тракториста, по внутреннему ободку нашарканная лбом до светло-коричневой шершавости, от возмущенья срывалась с головы. И волосы на маковке были в бисере пота, а седые виски неожиданно сухие. Однако и передовой пахарь был начеку. На полном ходу он соскакивал на землю и давал дёру, а отец настигал трактор возле леса и, боясь угодить под гусеницы, с подножки вспрыгивал в кабину, первым делом вминая кирзачом лапку тормоза...

Ещё Дядька ездил на косилке, на граблях. И тоже отец переживал, как бы мальцу не напекло голову, не брякнулся бы под ножницы или острые зубья.

С тех-то давних пор в Дядьке прорезалось и прозрело это редкое чувствование земли.

Он всегда знал, какое поле как вспахать. Земля за его плугом поднималась в медленном величье, расплзаясь босяцки, как рубаха на груди, а сухое жнивье рвалось созревшими швами, и там, где по осени выжгли недожатки, дымно стлался золистый шлейф и послушно волочился живым прахом. Но вдруг намертво заклинивало плуг, топя стрелки в счётчиках топливной системы, и гусеницы раз и другой проворачивались вхолостую, и если траками не перекусывало стальной палец, разувая трактор на одну ногу, и не откалывался лемех, то в глубине земли сламывалась ледниковая осада, а са-



ма земля со стоном отплёвывала в этом месте кусковую мерзлоту. На вольном духу мерзлота стремительно чернела, точно разбрызгивая внутри себя тёмную жирную кровь, которую пахарь отворил плугом. И с этим отпотевающим дыханием земли, вены, России Дядька тоже покрывался испариной. Как в школе, рисуя стенгазету, он боялся смазать краски, проколоть лист карандашом или, того хуже, разлить гуашь на чистый ватман, так и бороздки он выводил с трепетом, но сразу набело, без нервного черканья, ровно и вдумчиво, и это была самая великая и нужная книга, которую творил человек. Вспашку узнавали, как почерк стилиста, и восхищались:

— У них старик пахал на совесть, Колька ихний может... а Миша вообще красиво пишет!

По весне скворцы слетались на поле. Они кружили над остервенело-собренным Дядькой, над его мелко, а то крупно и знобко дышащим трактором, бросались на распарываемый гребень. Пока он ещё не сомкнулся в длинную прямую строчку, не заштриховался зубьями подвески, а лишь показывал свою земную силу и плодящую утробу, и черви, сонные и нерасторопные, не успевали схорониться под комками, скворцы сощипывали бледно-розовые ребристые выползки и несли в клювах через пашню к селу. Там над сеновалами и амбарами на высоких ошкуренных жердях покачивались от ветра и собственной внутренней жизни скворечники из пустотелых осиновых чурок. Сев на струганный нос или на ольховую ветку, пригвождённую к теремку, скворцы исчезали в выдолбленной дыре. Оттуда с раннего утра кричали и в распахнутые клювы змеились узкими альбами языками голодные скворчата, но радостно замолкали, едва окошко накрывала тень, и тогда теремок заходил в писке, клёкоте и щебете. И в том, что пахарь, сам того не ведая, и эту небесную тварь накормил, и эту гудящую над крышами крохоту обратил к солнцу, а не одному только человеку дал хлеб и помощь, была особая праведность и ширь крестьянской судьбы.

Каждое лето проводился конкурс пахарей. Со всех районных хозяйств ополчались первые механизаторы, в установленный день съезжаясь на поле брани. Спозарани взбодренный и деловитый, Дядька действовал грамотно и без суеты, и лишь бритвенная сечка на скуле, прижжённая тройным одеколоном, обнажала его мальчишеское волнение. Он не бузил и не терял головы, когда роковая бумажка из шапки выдавала неудобный участок, а мысленно квадратыл его, как шахматную доску, кумекая, пахать ему в свал или, наоборот, в развал<sup>1</sup>, и едва над судейским столиком вспыхивал красный сигнальный флажок, сильно и требовательно, словно земную ось, гнул рычаг на себя, врезая плуг прирученным движением. И всё шло по-заведённому. Снова копоть, пыль, рычанье моторов, развеваемый прах земли и, наконец, пузырящийся свист главного судьи... Отмашка! Трактора на исходную позицию! Комиссия при галстуках и в кожаных ботиночках измеряет глубину вспашки, поочерёдно суя в бороздки деревянные клювы линейки, с шумом совещается и что-то помечает в блокнотике. Оборвав борозду рядом с лесом не абы как, а каллиграфическим почерком лемехов, изящно вынутых на всём пылу, Дядька отпिनывает дверцу и, словно космонавт, долго не видевший землю, шалеет от дарового воздуха и света. Встав на тугую гусеницу, на ветру и вешнем солнце закуривает дрожащими руками. Глядит на свою поэму, тревожно ищет изъяны. Почти всегда вычитывает какую-нибудь одному ему видимо затёртость оборотов или небрежную рифмовку борозд. Но уже не переписать, не перепеть. И, стараясь не помять борозды, он идёт в прохладный березняк за соком. Сок в трёхлитровой банке с чёрными и коричневыми муравьями, но оттого с приятной кислинкой. Как победную чашу, Дядька обеими руками подносит склянку ко рту. Ночь мигнула звездой, а склянка полнёхонька. Сок льётся через край, сверху барахтаются муравьи. И Дядька пьёт этот сок прямо с живыми муравьями, и те муравьи, которые чудом спасаются от раззявившейся воронки, мечутся по стеклянному ободку, но и они не уходят от гибели, и медведь смахивает их языком. Потом он возится в движке, зачищает от гари зазоры свечек и подтягивает пассатижами про-

<sup>1</sup> В свал, в развал – виды распашки земли.

волочный хомутик на шланчике топливной подачи, а больше того гремит ключами, лишь бы не слышать этой сухой учёности и нуди разговоров. Его как будто не волнует, что там решается за столом, какие циферки влетают в судейское табло. Всё это пустяки для него! Но его обступают, трясут его мазутную лапу. Цокает фотоаппарат городского корреспондента, когда на шею медведю, вставая на цыпочки, душистая старшеклассница надевает атласную ленточку чемпиона. На полевом стане хрипят котлы. Там согнали в шеренгу столы, раскинули реквизитную скатёрку, а в автобусе с выпуклой крышей и овальными дверьми навезли из клуба ряженных артисток. Песни из журнала “Советская эстрада” за такой-то год, рассыпающаяся псыансом игра баяна и гомон торжества. В закатном солнце немым укором стоят перед глазами непочатые бутылки “Пшеничной”, а вышитые скребут душу народа и призывают к стихийному творчеству. И вот уже дремному, исплясавшему ноги директору обляпали губы и шею помадой, замышляя драму в его семейных отношениях, но наутро он провёл с мужиками воспитательную беседу, и все поняли, что кругом не сознательные граждане, а мудочёсы и свистуны, и делать бы им нечего в совхозе, космосе и Советском Союзе...

Так Дядька побеждал в отчётных конкурсах.

Но самый строгий досмотрщик и судья сидел, словно сыч, и караулил его дома. К тому времени сыч накренился и почернел, с дизельной его списали по возрасту, нарушив душу до крови, а жить без государственной установки он ещё не наладился, тычков и понуканий старухи не зачисляя на сей счёт. Обида не запекалась. Сыч, вымещая её, качал седой головой, ехидно комментируя совхозные состязания, и, как верного друга юности, павшего в великом бою, оплакивал свой газогенератор. В том смысле, что будь у него нынешний ломовой табун коняк в поводу, старик всколыхнул бы кое-кого за грудки и вообще навёл бы шороху. И что, дескать, не бахвалиться бы этой шантрапе лёгким хлебом, чёрной корки в лихой год не едавши. Однако новой технике старик не был обучен. “Натик” его давно обглодали, лишь одно колесо гнило у взвоза, да и с того колеса поганцы срезали сваркой зубья — на кодуны... Сыч был хмурый и злой. И когда от совхоза в воскресный порожний день засылали на распашку частных огородов захудалый тракторишко, беря за это сущие копейки, Сыч уличал в этом унижительную подачку для себя. Он, как привязанный, шагал за плугом с косой саженью, всё на сто раз нудно перемерял, а если, не дай Бог, замечал оплошку, с белыми глазами навывкате бежал наперёд трактора:

— Не та-ак, не та-а-ак! И куда вы, вертолобые, торопитесь?!

Неотъёмная от его первобытного существа фуражка скоробилась от пота, а Дядька глядел на неё и на запыхавшегося человека под нею и посмеивался. Но иногда в Дядьке что-то стопорилось. Он рывком осаживал махину и, ошпаренно выпрыгнув из кабины, в качестве меры, предупреждающей свару, доказательно тыкал пальцем в борозду. Или с подножки стучал по кабине гаечным ключом самого большого номера, который только мог на шарить в железном ящике под сидушкой, и под рокот мотора и дребезжание стёкол прогонял самозваного ревизоришку с пашни. Откуда ни возьмись, наплывала бабушка, загодя причитая о своей несчастной матушке и выдёргивая из земли огородную тычку, метящую тропинку. Она порывалась увести деда в избу и даже замахивалась на него тычкой, но под руку не лезла. Да и дед всё равно не понимал, почему ему надо уйти, и по-своему, с матерком, выражал протivление.

Над заплотами восставали любопытные головы:

— Что там такое?!

— У этих, большегорлых, опять рёв! Старик с Мишкой сцепились...

Заканчивалось всё тем, что дед, шикнув на бабку, трусил в конец огорода и маячил там неприкаянным ориентиром, на который пахоруким следовало равняться. Поскору разделав огород, Дядька с позором убирался — вершить свои социалистические завоевания. Сыч, отплевавшись, плёлся по бороздам и, расшибая колотушкой непропаханные комки, с величайшей горечью бормотал: “Каки-их только полоротая не нарожает!” — молитвой этой нисколько не давая веры и почтения районной славе меньшого сына...

И всё же главное — трудовое, будничное — начиналось с отъездом пришлых людей. Тогда меркли блики чёрно-белых “Зенитов” и “Рекордов”, увозили лавки и столы, а флаг соревнований — рыжее выходящее пламя — задували до будущего года. В поле воцарялась одна рабочая тишина. Плотное сопенье тракторов и машин звучало в этой тишине просто и внятно. Голодно лязгали на сеялках крышки бункеров. Грохотали кузова. Пестрели руки и охали тяжёлые, как роженицы, мешки. Всё сливалось в одно: шёпот семян, широкий — механизменный — крап на пашни, новый круг, дожидание осколков... Посевная! Что-то крестное, рождающее. Шёл дождь с градом, клевал первые всходы. Но жизнь выкрикивала своё — некиношное, бьющееся в виске. И вот под круглым серебром — нежная зелень. Потом, с теплом, густая звень. Золото. Трепет нивы и стрепетов над жнивьем. И за всем этим — обрывом крестьянскому небу — шагнувшие под комбайны солнца... И много лет, и много лет одно и то же! Поздней осенью, когда Дядька пахал зяби на Затоне или Перевесе, пролётный снег садился на вздыбленные валы и не таял: в природе уже не было дыхания. Плуг, надраный о землю, был зеркальным. Захватив из дома бритву и помазок, Дядька по утрам скоблил стантовую колкую щетину, попеременно глядя то в тракторное зеркальце, то в мёртвое свечение металла. Но и там, и тут видел с мучением и болью своё старение, глубину нарвавших на лбу морщин и вялую бледность глаз. На комках блестели даже не срезы, а мёрзлые сколы от плуга. В этой стылости, в умении земли, отрожавши, по-женски уединиться, прибрать и почистить себя, сохраняя лоно в заповедной святости, было какое-то грустное, неизъяснимое великолепье. И когда земля, расчёсанная, закутывалась с ногами в гудящий ветрами октябрьский студень, уходила, приговорённая, под снег, в холод и звёзды, вместе с ней, исчезнувшей, иссякала, со снегом истаявала в горячих ладонях и кухонных котлах, с прощальными звёздами масла и некая волшебная тайна бытия. И Дядька становился печальным, как эти несомые над Россией чёрные ненастные облака. Он вдрызг, на вред себе запивал, неся остроту и неотперхиваемость своей нутряной боли, и руками, к сорока годам распятыми на рычагах, всё чаще и всё злее душил гранёные стаканы, как чьи-то короткие гнусные шеи. Водка, казалось, сама выдавливалась в него из стаканов, из чужевшей, чужбинной и злобной к нему жизни, вообще круга немилостивых обстоятельств, в котором один за другим, как в плашке, погибали в эту жуткую пору мужики...

Трактор его пусто и одиноко стоял в поле. Бабушка обзванивала посёлок:

— Где он?

— Кто?

— Ну, кто-о?! Долговязый-то! Вы там его не видали?

Дядька, узнав о слежке, орал, размыкая рот огромным рупором.

## V

В нём уже тогда случился надлом, так мучительно и полнокровно — побратски — совпавший с гибелью самой державы, с её выпятившим красный язык задыханием в удавках трёхцветных флагов, вздёрнутых над победившей Москвой. Имперская власть отступала из провинции, отхаркивая кровь и шерсть. Это со скользких от плевков столичных улиц её вышибли в двадцать четыре часа. Её центровая рабочая жила впилелась в сердце крестьянской жизни — без разрывания кожи и мяса не разойтись. И только шебутной, ровнивший на пикники и в секунд-хенды город разом пустил по ветру своё промышленное, по уши, по маковку, по душу наливаясь пепси-колой и разной мразью. Из архипелага ГУЛага державу, её усталый народ этапировали в архипелаг бумаг, которыми обложили росса картавые хищники, и губили в них, в асфиксии даровой свободы. И Дядька — как все они, простые крестьяне! — вместе со всеми бежал, умирал без пуль, без верёвки болтался голыми ногами над четвергованным полем. Руки его, оттолкнув рычаги, повисли плетьми. Покатилась закатным солнцем голова. Сердце возилось в груди, аукая ответное колотенье в рёберной клетке радио, но даже “Маяк” — утренний бесменный позывной — попал в расстрельные списки. Иные спасали себя и де-

тей, запирались от быстрого угасания сначала в арендаторстве, потом в фермерстве. Этих тоже гнобили в архипелаге бумаг, брали налоговой пятью за горло, глотки — чтобы молчали! — запаивали оловом реформ. Настигнутые в последнем убежище, эти иные тоже погибали, а кто-то сдавался в полон. Но те и другие, наконец, уронили или сложили на остывшей груди руки — трудовые флаги державы. Только Дядька, кажется, так до конца и не понял вселенскую бездомность, мусорную ненужность и падаль своего теперешнего существования, бывшего вчера моторной тягой. Против природной удали и таланта он утвердил обратное действие: наградные сувениры — холодные цапки эпохи — мял трактором в проулке, грамоты с тиснением под золото свернул трубкой и сунул в огненную печь, швырнул туда же красную — ещё с Лениным — пачку премиальных денег, на которые можно было купить холодильник “Бирюса”, и бабушка с воем оползла на ведро, в котором намывала картошку... Он быстро хирел и утихал, утекая, как первый снег в обеденную землю. Братя его скочевали с родовой избы, жили детными семьями в посёлке. Сёстры обмужели. Только он, боббль, томился со стариками. Бродил по гладким плахам, как зверь в осаде, грызся с отцом из-за пустяка. И, не веря глазам, до полночи не вырубал телевизор, а утром без души шёл на работу. Душа оставалась дома и, провозжая его за дверь ехидным взглядом, напояла по первой: “Пошёл?” — дескать. — “Пошёл”. — “Ну, катись!”

На замороженном Севере всё коченело не сразу, а как в замедленной киносъёмке, но тем страшнее и нагляднее. Если не умирало, то самочинно загоралось чахоточным румянцем в ночи и, неохотно укрощаемое из кишок запоздавших “пожарок”, день-другой дьявольски скапилось и хохотало дымом, пеплом и головешками, выедавая глаза и сердца простых людей небывалостью страховых выплат, которые отстёгивали сметливому владельцу пострадавшего госучреждения, днями ранее скупленного за копейки. Берили и ждали, что в этой кошмарной банной выпарке красный петух отмоется добела или взовьётся через печную трубу и навсегда исчезнет, а посему всё терпели и прощали. Но на смену пришёл индюк в звездастых джинсах и склевал зёрнышки пятиконечных звёзд КПСС. И уже ничего не хотели, лишь бы оба они скрылись с глаз долой с родной земли. Она-то от вспашки до вспашки, от сева до сева жалась в смертельном обруче, как будто сама душа земли напоследок сгребалась в худом теле, чтобы вот-вот изойти из него, уколиться о башенный шпиль Кремля и кануть в небесах. Народный дух всё не мог оклематься, хоть жиденько, но молились о нём, шуршали над ним газетами и плескали плакатами, а он, как слепой, мотылялся по миру с протянутой рукой. В городе высиделись церковки и, проклонув золотую скорлупу колоколов, похристовались в братском единстве. В деревне, как тыщу лет назад, из всех оберегов от ворогов и напастей пялил пустые глаза побелевший от дождей коровий череп на изгороди, да и его с досады прострелил охотник, пропудявивший на овсах копалуху. Однако и рогатый череп без височной кости, вынесенной дробью, не мог прободать тьму, которая слетелась на мир после проигранного сражения. На гаражном дворе ржавели остовы гусеничных и колёсных тракторов, комбайнов и грузовух, а с ними сеялки, грабли, плуги и пресовальные машины, как большие и маленькие скелеты расклёванных животных. Перед снегом с летних пастбищ стогнали скот, мычащей бучей переправляли на барже через Лену, наглотавшуюся осеннего свинца, и крешкого здоровья была немогутная с виду доярка в облинявшей болоньевой раздергайке и с остуженным сиплым горлом, которая в зимнее туманное утро отворяла, как в ад, грохочущие ворота коровника. Мужики, с утра явившись в контору за разрядкой, роптали на плохо освещённой лестнице, потерявшиеся и бесцельные, и стеснительно пользовали чужую “Приму”, если она оказывалась в чьём-нибудь кармане. Директор, большелюбый и короткорукый, грузно прошествовав по узкому проходу между людьми, рывал на всякого, кто переступал порог его кабинета:

— Где я тебе новый радиатор возьму?! Чо ты, ё-моё, совсем дурачок?! Выйди отсюда-а!!!

Потом, откричавшись по телефону, сам выходил к мужикам, бледный, но с победной мыслью на лице. Из пачки “Родоши”, словно патроны из обой-

мы, торчали жёлтые фильтры сигарет, которыми директор вооружал особенно активных мужиков, чтоб они жгли порох и не совершали подсудных движений, а между тем с жаром говорил:

— Надо, ё-моё, выкручиваться из положения самим — за счёт укрупнения арендных бригад. С техникой сейчас... сами понимаете, а так будут двенадцать-тринадцать единиц — маневренность!..

Из последней мощи укрупнялись, наскребали какие-то крохи, снова сказочно пахали и сеяли, перепрыгивали планку по мясу и молочку, по зерновым брали никому не нужные обязательства, чего-то вершили, зазывали из газеты корреспондентов и после уборочной ездили в район за дежурной премией по случаю праздника сельхозработника, на обратном пути накрывали скромную полянку там, где недавно гуляли миром. Но выяснялось, что это так стелили соломку, когда всё опрокидывалось навзничь, и на другой год укрупнение не спасало. Уже были назначены перевыборы на главную совхозную должность, словно в директоре и была основная течь, давшая роковой крен державе. Бабы городили чепуху, подговаривали очередь в магазине и собирали подписи, а мужики болели от войн и революций и порожняком шатались по улицам, да губы нажираясь палёным пойлом...

Когда в будний день Дядька оставался дома и садился за жареные картошки, и в лихую годину не выводившиеся у бабушки из твёрдого оборота, дед, проверив корчаги и нанося воды, а также сварив корм скотью и перелопатив иную, смотря по времени года, работу, с притворным кряканьем заваливал в кухню и окапывался за столом напротив сына, будто хитрый мышь, таскающий из вазы баранки, а сам иронически наблюдал, как хвалёный, возвеличенный до небес механизатор с ножом в огромной руке сверх плана боронит в небольшой студнице свиной холодец, застывший белой жирной плёнкой. Время от времени, угадывая, впрочем, момент, когда вилка вознесётся с тряским куском и последует по маршруту тарелка—рот, дед поднимал на обсуждение какой-нибудь подлый вопрос, вроде:

— Вы снег-то стортали?

Снег на поля сталкивали тракторами в малоснежные зимы для весеннего водозадержания. Но так было в пропащие годы, не жалевшие народных душ, а нынешние эти души и этот народ берегли, как зеницу ока, для какой-то своей надобности, не пересекавшейся, правда, с чаяниями самого народа, и потому сразу ликвидировали всё, что чинило этому народу препятствия на пути его полного и безоговорочного саморасходования ради чужой корысти.

— Где солярка-то? — баском отвечал Дядька, делая вид, что не замечает издёвки. С вилки-таки соскальзывало на стол, и оба они, отец и сын, смотрели за прыгающим студнем с неравным отношением к произошедшему. — Лопатами кидать?!

— Привозили же перед Новым годом.

— Хэ, несколько бочек... А сено выдёргивали с Кукуя?!

Деду только этого и надо было; он даже привставал с табуретки:

— А вы не солярку загнали Мишке Островскому?

— Кто загнал? Ты меня видел?!

— Врать не буду — не видал, ага... — охотно соглашался дед, но терпеть эту шашечную перестрелку уже не мог и напролом лез в дамки, а иногда просто лез через стол: — А что вы, я спрашиваю, насеете со своими реформами?!

— У тебя возьмём!

— У нас с баушкой нечего брать. Нас и самих скоро прикончат! Пока вы, февраль, кружите по деревне, нам тут другую жизнь... устанавливают.

— Завёл панихиду! — бросал вилку Дядька: есть уже не хотелось. — Кто устанавливает-то?

— Поселенцы из правительства — вот кто! И американцы ещё, — минутой позже вспоминал дед.

Залетала с улицы бабушка, вся в банной распаренности и с хлопьями мыла на фартуке, и лишь нос картошкой был сухой, словно не он сопел над шайкой с постирушками. Она сразу оценивала ситуацию и в целях погашения очага конфликта гусиными щипками гнала старика в комнату, отпечатывая на полу влажные запятыя от косолапых тапок:

— Будешь телевизор слушать?

— На хрен он мне нужен!

Дед нехотя отступал и в недобром молчании сидел на кровати, сцепив руки на коленях, а едва бабушка отлучалась из избы или начинала строчить пулемётной очередью, с характерным хруском зуба о зуб перекусывая нитку на игле швейной машинки и ничего не видя и не слыша, он благодушно привлекал курившего в печку сына:

— Я что хотел спросить у тебя, Михаил... Ты, никак, отстал?

— От кого?

— От баржи-то?

— От какой баржи? — Дядька поворачивает лобастую голову. — Что ты опять городишь?!

Старик тоненько смеётся:

— Ездили же сёдни на полуторке по деревне, алкашей загружали в кузов. Потом, говрят, посадим на баржу и отправим в Ледовитый океан — лёд долбить!

— Но-о! Смотри, как бы тебя не сослали, политикана!

— Меня не сошпют! — срываясь на визг, реваншировал дед. — А тебя, Гаврош, обязательно!

Наступал заветный час, и Дядька не выдохивал, уходил из дома и водился в шальных избах. Он падал в полдороги, его, как труп, приносили на закорках. Чеченец Косыгин, злобный убиец и вдовец, тайно живший с дурочкой-дочкой, стряхнул ему голову корытом. И уже — как вычёркивали из жизни — не раз вышнывали из совхоза, а затем с поражением в правах восстанавливали. И только жизнь больше не признавала его. Как-то схлестнулся с Гулихиной-разведённой. Медовал с ней в двухкомнатной клетушке, чинил забор и крыльцо, а перед работой — бритый и сытый — на цыпочках подкрадывался к спящей... Спустя неделю-другую мать толкнула дверь плечом:

— Зачем она тебе — бывшая?!

Гулихина связала вещи и уехала...

В ту красную жаркую весну бодались в Логу у ельника. В последний раз. И Дядька что-то запорол, уступил ленту чемпиона залётному пахарю из Карпово. Стоял на общем фото сбоку. На голову выше всех. Коротко стриженный, улыбка простецкая, белый свёрток под мышкой. Рубашка в клеточку... Всё трын-трава! Вечером застонали ведра в сенцах. Роем слепой рукой в кармане. Нашёл. Рот до ушей. В глазах мокрый блеск. Купил детские механические часики. Что-то копейное, пустышное. Клюётся в кулаке маленькая птичка. Маленькое сердце страны. Подарил племяшке, заплакав громко и некрасиво:

— Смотри, дурёха, чтоб этот варнак не сломал! На память это тебе от Дядьки!..

Но потом премию просадил, часы с холодными глазами вытребовал назад и пропил.

## VI

Вообще в своей жизни Дядька справил одно-единственное дорогое приобретение: на премиальные взял со станка колясочный “Урал”, синий-синий, как мечта деревенского мальчишки о небе. Высокое рокотание мотора, льдистое отражение зеркал, захлёбывающееся стремление спиц в колесе... Гонял Дядька по посёлку, ища смерти, и на ревущем ходу сквозь слёзы и восторг полёта поплёвывал на близко шагнувшие к дороге телефонные столбы, восклицавшие мотыльку о хрупкости существования. О том же, только более весомо и грубо, толковала ему бабушка, когда — “рубашка нараспашку, коляска кверху, в ж... дым!” — он подкатывал к воротам, натрёпанный, и чумовой вихрь, не останавливаясь с Дядькой, с его железным зверем, пронёсился дальше по проулку:

— Ты, чурка, башку свернёшь на своей мотоциклетке! Кто чинить будет?! Лонин подался с семьёй в Иркутска, Наталья Анатольевна тоже вот-вот уцелет от такой жизни, карета поломатая стоит...

Но ему, должно быть, горела звезда, кручинилась о нём, озаряла его беды и горечи и вела, вела, вела... К чему? Куда?.. Однажды (это были ещё громкие годы) он разворотил колхозную избу, в которой становались трактористы. Много бригад повидала изба, широченные нары, сработанные по принципу всеобщего равенства и братства, кого только не привечали. И вот как-то утром сидели мужики, чифирили и зевали. Кто-то, шоркая себя по спине, сказал: “Как посплю в этой избе, потом неделю чешусь!” Дядька то-сковал в отстранении, придавленный вчерашним безобразием с уничтожением кружек и борением на руках, и подумывал о жизни всерьёз, озирая вонючую берлогу, стиснувшую его молодость. И вдруг весь встрепенулся, поднял (рас-сказывают) голову. “Чешешься?” — спросил тихо и быстро вышел. Открыл дверь: “Ну-ка все!” — а когда мужики выскочили, гарцнул на тракторе к избе, поддел плугом нижний венец и, продымив гарью, спятился... На ту пору ехали с проверкой директор и главный агроном. Пospели на Перевес — стояла изба. Съездили к соседней бригаде, на Дресвяный ручей, вернулись через десять минут — нет избы. Где изба? Сошли под угор — брёвна у реки.

— Кто?!

— Мишка Длинный...

Грозил Дядьке срок. Бабка бегала, хватала за руки, клянчила и кланялась, просила за дурака...

А то он унырнул с трактором под лёд. Командировали их с Кетрованом за сеном в Борисово — местечко на другом берегу Лены, где распахали старое кладбище. Дело было в начале декабря, лёд ещё не выковался на морозах в полтораметровую сталь, протяжно томился под гусеничным лягом, но переправу держал. И вдруг на фарватере клацнул челюстью, сглотнув добычу. Кетрован ехал на саях. В печальный миг он скакнул на лёд, отполз от полыни на расстояние выстрела, а уж там боязливо поднялся... Дядька отдыхал на дне. Тут выручили тяжёлые сани, которые не дали трактору завалиться на бок. И ещё спасла соображаловка. Дверцу с водительской стороны заблокировало течением, Дядька, едва брызнула вода, плотно закрыл стекло, а уж потом пнул вторую дверцу и, держась за раму, выскребся на кабину, весь мокрый и без шапки, которую река унесла на память. На льду Кетрован с доской, руки от страха ходуном, глядит, как на утопленника...

— Если бы Длинный не закрутил стекло, а сразу бы открыл вторую дверку, дак его бы течением под лёд! — рядили мужики, обмывая в гараже второе рождение товарища.

Но заканчивали едино:

— В рубашке, бляха, родился!

Он и верно родился в рубашке и, будто подслушав тайный разговор и разнюхав, что в верхах при любом раскладе его не кинут, всё-то гнул судьбу через колено, а когда она чудесно не ломалась, хохотал всей глоткой, усыпляя в близких боль и волнение. Струхнув после неприятностей с утоплением техники и людей, директор нарисовал Дядьке путёвку в областной санаторий, но утопленник не к месту загулял, путёвку порвал на самокрутку, грозился также порвать директорскую гузку на британский флаг, да мужики оттащили. И так-то у него пошло, пошло, пошло! Как-то на Крещенье Дядька упал в ночи, но его подобрали и — серебряного — занесли в котельную, докрасна надраили шершавым снегом... Это был словно далёкий грозный окрик ему, всем нам, однако ни он, ни мы не услышали. Откромсали по пальцу на руке и ноге, а Дядька всё хорохорился, дезертировал из палаты и опять шараялся по заугольям. Легко было летом, прикорнёт где-нибудь и спит, как младенец. И золотая осень ему нипочём! Но после картошек барабанили в дождевые бочки первые заморозки, белые мухи порхали над огородами, ярко-чёрными от пролившихся дождей, и тогда становилось тревожно за Дядьку, за его переменчивую звезду.

И бабушка, с рассвета до ночи крутясь колобком из избы в поварку, которую топили до холодов, и обратно, вся занятая поздними солениями и утеплением окон, нет-нет, а поглядывала с высокого крыльца на осьмушку поля, да к той поре с зябями уже управились. В свободную минуту она катилась на угор и, перематывая на лбу шёлковый узел платка, бормотала

что-то слабыми губами. И если это была молитва, то ткалась она не из слов, а из шарканья сухой руки по сырым глазам, из хлопанья маленького носа, из глубокого и шаткого выдоха, а может быть, из равнодушного бряканья лодок, от волнения шербатовых волн ударявшихся друг о друга. Огоньки осени, как много лет назад, горели на реке. Это рано вечером зажигались электрические лампочки сосновых плотиков, каждую осень заменявших железные бакены и каждый ледостав уносимых с шугой в море Лаптевых. Их заренье было унылым, прощальным, и видеть это могли лишь старый уходящий человек или иная светлая душа. Огоньки напоминали старухе о грядущих вьюгах, о долгих вечерах, о надсадной чахотке дыма над простуженной землёй, но больше о непутёвом последыше. И, чем бы ни была занята бабушка — меси́ла ли она в ступе тесто или хлопала половики, а то спускала в подпол морковки и свёклы — всё-то она выслушивала стук воротной щеколды, но когда и жд́ать было невмочь, ковыляла к соседке, ковыряла диск телефона...

## VII

После седьмого ноября Лену замуровывало неровным льдом, нагромождённым у брустверов, и вместе с рекой, курающейся от полыней, замерзали скошенные шугой кусты, обломки досок и разный хлам, накопившийся вдоль берегов с весны, и всё это в последнюю гремящую ночь с приморозом дыби́лось, опутывалось серебряной проволокой и к утру причудливо напоминало крестовые ограждения на минном поле. К тому дню лежащие на камнях “Оби”, “Казанки”, “Крымы” и “Прогрессы” муравьиной гурьбой стаскивали на угор или свозили на самодельных тележках, перевёртывали под заплутами, и октябрьский поздний дождь или переплонувшая борт волна, пристывшие к днищу с зеленью водорослей и рыбьей шероховатой чешуёй, от удара лодки оземь или от колотеня в неё концом шеста осыпались оловянными кусками. Под острыми носами лодок, пропахавшими снег, курчавилась изумрудная осенняя трава, а отстранённо от общего следа ползли, как змеи, цепи с примкнутыми замками, чертя на снегу рыхлые зыби. Когда после обеда скот гнали на водопой к разёму во льду, продольно берегу открывавшему Лену журчащей полоской, то животные, как намагниченные, шли по этим потаскам от лодок и, на ходу то опуская, то поднимая головы, рвали жёсткую скудость, и то, что трава тоже проморожена, узнавалось хотя бы по звонкому хрумканью, с каким она перемалывалась на шербатовых зубах. К избам же прикатывали с берега лавни<sup>1</sup> на кованых колёсах, трелевали тракторами пойманный ещё по большой воде лес и зубатыми шинами бензопил “Дружба” и “Урал” запорашивали валенки жёлтыми опилками, сладко пахшими на морозе отворённым смолевым деревом, столетия напролет хранившим в себе лесную тайну. Вдоль заборов парадным единством выстраивались длинные поленницы, скреплённые против расшатывания и распада широкими плащинами<sup>2</sup>, выложенными мудрым образом — клетями. Но в тех избах, где хозяин был плохим, топились щепками и речным хламом, а то пилили старые стайки и дырявые бани или в темноте одалживали дрова у соседей, и обледенелые окошки в этих избах только в погожие дни вылизывались размытыми кругами, да и то не от движения огня в печи, а от разгоравшегося в небе солнца. К вечеру его скрадывала иссиня-чёрная туча, уносила в заплечном мешке, из которого нет-нет, а протекало ртутью. На землю крошилось косыми ученическими мелками, и вскоре алое мерцанье над сопкой угасало. Ночью взлаивало шумной сворой, сквозь щели рассохшихся рам пенило в избах оконные задергушки...

Наутро заваливала настоящая зима, отстреливалась липкими детскими снежками в автомобильные стёкла и спины прохожих, собачьими красными пастями хватала снег, пропахший ветром, дымом зимовий и соболями, щед-

<sup>1</sup> Лавня, лавена — широкая доска (плаха) с простейшим вращательным механизмом на конце: ось и два колеса. Выкатывается в реку колёсами и служит для полоскания белья, черпанья воды и пр.

<sup>2</sup> Плащина — плоская часть расколотой чурки, не измельчённая на поленья.



ро задаривала сугробами тайгу и село, серебрила дороги, луга, стальные провода столбов, колтыхалась фанерным бельём во дворах, трамбовалась вместе с капустой и кислым анисом в деревянные полубочья, стиснутые железными обручами. В безмерной северной простёртости цепенели поля, дичая на российской воле, и этим свадебно-белым покровом, саваном смертным затаивая от глаз свою непочатость, своё нутряное бабье, не взятое, не рожавшее нынче. После первых шёлковых метелей с низовий Лены завивал жестокий хиус, шатал рыжий бурьян с насевшими на него снегирами и овсянками, в два-три дня притаптывал снег на открытых местах, особенно под угором и на реке, и этот закоревший наст под лыжами или валенками ломался молочно-вафельными лафтакми, образуя полость, тут же засыпаемую выкристаллизовавшимся к той поре снегом из внутренних слоев сугроба. Ни скатать из этого зыбучего материала снаряд, ни вылепить развязную бабу с полоумными глазами из пяточков разрезанной свёклы и голыми неровными грудями с отпечатками потных пальцев лещика, а после позёмки, раздувшей в небе кемаривший уголёк, вообще перебарывало на мороз.

Над селом флагами сибирской зимы выросли густые рокочущие думы, золисто-жёлтые от сращенья утренней темноты и рано воспалённых окошек, трепыхались на ветру и на больший холод, к четырёх часам вечера уже синевший над крышами, сверлили небо высоко и прямо, вылетая из труб с хлопьями отхарканной сажи. Лёд на реке к той поре начинал с оханьем оседать, но если всё же держался выпуклым пузырьём, из которого ушла вода, то с ударом пешни, проклонувшей прорубь, он словно отставал от берегов всеми незримыми жилами и потрясающе обрывался под ногами. Шум был такой, словно с крыши скинули на землю лязгающий лист кровельного железа, но крепкий воздух и коридор реки, защемлённой тайгой, долгим и продолжным отзвуком усиливали это грохотанье. Иногда ледяной панцирь ухал вдоль берега сразу на десяток-другой метров, а из тёмно-синей оскаленной трещины выдавливалась река и толкалась частыми сокращающимися кругами. В лесу в самую стынь зайцы торили тропы, в пугачёвском дырявом тулупчике выбегая на бывшее совхозное поле, где Аржаев-фермер год или два разводил капусту. Здесь они поедали светло-зелёный лыч, проколевший до громкого хруста и мягкой сладости. Пацаны в это славное времечко студили сопли и до красноты нашаркивали носы пушистыми варежками, лазая по охрипшему от мороза ольшанику. Они перекрещивали заячьи пути нихромовыми петлями, против запаха металла и рук натёртыми об ёлку, и через день-два высвобождали из удавки плоского, уже вмятого в снег другими зайцами, растопырившего лапы ушкана с капроновыми глазами. Скоро все узнавали о зайцах, об их кормном месте. И Дядька, заглушив трактор в проулке и слив воду из радиатора, чтобы его не распёрло по швам, отжигал в поварке обрубок стального троса, сначала чёрный и липкий от мазута, а из печи вынутый алой гадукой, которую Дядька остужал и разделял на пряди, а те на проволоки. Проволоки были кривые, Дядька обеими руками выпрямлял их в струну, пропустив через дверную ручку, а потом до блеска зачищал суконкой или мелкой наждачкой, наматывал на бутылку и сцарапывал ногтями аккуратные связки, прятал в кармане телогрейки. От счастья и возникшего смысла жизни он весь светился:

— Ездил на Тетереву гору по дрова, видал там в осиннике тропы — куда к чёрту! Не перешагнёшь! После Нового года, Бог даст, опять поеду...

И никогда не ездил, запивал задолго до Нового года, тратил петли на разную подвязку, бросал куда-нибудь и забывал!

Когда прижимало на неделю, а то и на другую, под навесами индевели колёса лавен и банные ямы перемерзали до лета, а опрокидывала вечерняя хозяйка ведро помоев на снег — шипела, ворочалась вода и, проковыряв мёртвую глыбу чуть-чуть, лопалась всей своей стеклянной шкурой. Звёзды на небе блестели тусклые и крохотные, не больше проколов от канцелярских кнопок. Но и без них всё в мире было полно яростной синевы, и тем зримее над электрическими столбами возносились вертикальные тени, на фоне зажжённой лампочки искрясь мельчащей изморозью. В такие ясные пронзённые ночи было громко в посёлке, словно в пустом концертном зале. Кто-

то — может быть, за пакость спроваженный на улицу кот — наступал на клавишу тротуара, тот, напряжись от одной лёжки до другой, сухо и коротко стрелял, и за этим звуком неуверенно ударяло раз-другой в цинковое ведро, вздетое на штaketник, а затем всё молкло, вернее, воцарилось говорящей тишиной, в которой резко слышалось, как корова в стайке с шорохом лижет заледеневшее стекло. Так-то до утра мороз никак не мог подобрать мелодию, чтобы заиграть во всю мощь, и то потрескивал крыльечком, то поскрипывал снегом, то дудел в трубу, а чаще нервно поламывал в палисаднике ветки рябин, словно дирижёрские палочки. Однако за чёрным ельником уже закипала великая зимняя песня. То хребтовая речка Казариха выставляла до дна, на лёд выпрастывалась оловянная, с зеленой, вода, шла шевелящимся током в Лену, барским жестом замешивая сугробы и полоня береговую дорогу, а следом, в шелесте пара и под перебранку воронья, двигался тяжёлый и плотный занавес. От тумана было густо и сизо, и если прибывшие на городском автобусе шли вечером из Казарок в Подымахино, то огни его редких фонарей расплзались вдаль, как по бутылочному стеклу капельки подсолнечного масла. В посёлке без конца латали теплограссу, горячий воздух дунил из колодезцев, как из гейзеров, и тоже воплощался туманом, одевал рыхлым желтоватым инеем бурьян в овраге, ключья выпотрошенной стекловаты и сырые телогрейки мужиков, согнанных на прорыв в клятую стужу. Вместе с отворённой бетонной плитой, под которой, как в гробнице кости, лежали гнилые трубы, дыхание замыкало ледяной пробкой, а от частого сморканья в носсах у мужиков обрывалась какая-то жила и хлестала яркой кровью на снег. Грохот иступившего зубы трактора и стенанья ломов напластывались, множились в воздухе, и съехавшаяся из города высокая комиссия не могла услышать саму себя, и только пропитые мужики, согнувшись над голубым цветком электросварки, знали своё дело без понуканий. Печи до локализации утечки топили утром и вечером, красно гудели и размётывались поленья, которые на ночь бросали в кухне звенящей горкой. Тогда и собачьи будки утепляли снегом, завешивая входы двойными мешковинами, и над берлогами, где живой дух нашаривал лазейку, закручивались куржаки, похожие на шарообразные осиные гнёзда. И даже брови у зябко скулящих собак, неохотно вываливающихся к дымным чашкам, были серебряные, а цепи, тоже почти серебро, гремели на снегу, и если на цепь угадывала каша или картошка и собака от жадности или сдуру кидалась поднять жратву, калёное звено прилипало к губам и отпадало с кожей. И в это жгучее время гибло много мужиков. Одни умирали в снегу, а других резали и штопали в районной больнице, кроили из живых желтушно-синих существ, и культяпы мотались по свету, опять пили, мёрзли, мёрли, вешались, стрелялись, уходили под лёд, и горько было от знания, что не только в отпетом посёлке так, но и по всей снеговой и продрогшей на сквозняке России...

Смерти мужиков Дядька, словно глашатай улицы, приносил в дом наравне с заныканной в рукаве водкой и клубами воздуха, врывавшегося наперёд человека в открытые двери. Но если белое дымление, холод Дядькиных валенок и пороша, лежавшая в рукавных складках телогрейки солевыми отложениями, обывали в тепле и в худшем случае стекали сероватыми лужицами на пол, а водка тайком изымалась из рукава и с волнением кадька заглывалась прямо из бутылки, то смерти растворялись в воздухе, становясь его живой народной частью.

О смертях рядили полушёпотом, образуемым самой темой разговора. И только Дядька говорил о сгинувших громко и просто:

— Володька Кислицын крякнул!

— Да ты что?! Чё с ним?

— А я откуда знаю! С вечера понужал с мужиками на барже; ну, остался спать, утром пришли мужики — а он крякнул...

Или:

— Валерку Логинова откопали! Подался перед Новым годом на рыбалку и недалеко от зимовья упал в снег. Сыновья после праздников пошли по его лыжне; ну, наткнулись где-то возле Таюры...

— Замёрз?!

— Конечно!!! Что за глупые вопросы?! Сразу крикнул...

Как и многие мужики, Дядька был ведённый, словно выношенный паводком балан<sup>1</sup>. Такой до осени морится на берегу под солнцем и дождём, весь пересыпанный песком, и к нему ещё нужно подобрать и, распилив, меняя изувеченные цепи, поставить на попа, высчитать, образно говоря, все его слои, сучья и янтарные наплывы, а уж из них вообразить картину некой общей жизни деревьев этой породы, и, осмыслив эту картину, в сумме понять их характер и узнать, под каким углом они будут колотиться, под каким нет, и только потом взмахнуть колуном. Но и в случае этого особого понимания балан не расколоть одним ударом: уж слишком много в нём, природном, естественной силы! Вот так и Дядька не раскряжёвывался под чужим горем так-то просто, не расщеплялся сразу, не отворял могиле и печали своё глубинное, но не потому, что чужое несчастье не выжимало из него слезу, а оттого, что своё бедовое закалило его изнутри. Он точно пребывал на двух пунктах обороны себя, своей больной большой души, которую нужно было защитить и от внешних, и от внутренних трещин, к тому времени обложивших его цепко и смертно. О смерти он говорил без любви и нечасто. Никогда не завлекал её красным словцом. Никто даже в суровые моменты его жизни не слышал, чтобы Дядька в сердцах призвал на себя смерть как единственное и близкое спасение. Никогда не было этого! Зато было другое, тоже витое, витиеватое, суеверное, почтенное и плёвое одновременно: о смерти он рассуждал намёками. Он словно петлял, пряча от смерти душу, как волчиха хоронит от охотника волчат в логове под корнями, и больше всего, наверное, боялся, что сухопарая всё равно вытропит добычу и, посветив фонариком в темноту под рёбрами, вынет — захлёбывающуюся в удавке — из груди. На деле было так: дескать, Владик Назаров не сам выпал из комбайна на плуг, отцепленный на полевом стане... “Помогли-и-и!” — намекал Дядька, обнажая в этой несчастной гибели скрытые повороты, в которые никто во всём мире не вписался, и лишь он один сумел. Проноса над его сократьей головой горячую сковороду (Дядька по своему обыкновению сидел у раскрытой печки и сплёвывал на огонь похмельную, рвущуюся на языке слону) и укрощая в себе великое желание стукнуть его этой сковородой, бабушка через губу шипела:

— Опять выпятил язык! Или мало тебе тот раз навалили, всю башку продолбили железяками?!

Старик, наоборот, внимал с интересом, и это были, наверное, те редкие часы, когда он терпел праздношатающегося с охотой.

## VIII

Было Дядьке уже сорок три. К той поре он сговорился с бывшей дояркой, вдовой, старше его на пятнадцать лет. Квартировал в её благоустроенной в посёлке. Он утром запускал свой трактор, постаревший на пару с ним, и уезжал иногда на весь день, медленно, словно продлевая себе удовольствие, пахал игрушечные площади и таскал сеялку, а на кого или на что гнул горб, на то и сам не смог бы ответить, ибо совхоз прибрали в частную лавочку и дали ему мудрёное название, но все упрямо именовали его по-прежнему. Она же, его последняя зазноба, сильная и бойкая, тоже не сидела сложа руки, со свету дотемна вошкалась по хозяйству, а заработок свой кроме выслуженной пенсии составляла тем, что выпекала хлеб и торговала им из дома...

Бабке и это не понравилось:

— Взял, бестолочь, старуху за себя! Спикуюланку, алкашку!

Она опять бегала, звонила, контролировала, проводила свою политику, срамила невестку на всю Ивановскую... Потом и Дядька, расшибая пьяными ногами дверь, звал тётю Любу без почтения:

— Старуха-а-а?! Откр-рой!

<sup>1</sup> Балан — древесный ствол без сучьев. Ведённый — то есть витой, неудобный для расколки.

Бывая в поселковой аптеке, захаживал “погреться” дед. На краешке стола угощался жаркими пирожками и булками, которые тётя Люба со всем радушием, свойственным полным женщинам, настряпывала румяные горы. Ел вятно, сытно, много. Не боясь столкнуться глазами, высматривал невестку, вынимавшую из духовки горячие формы с хлебом, накрытым фольгой.

Похикивал, представляя, как дома, на допросе, скажет со значеньем:

— Ну, баушка, невестка у нас до-о-обрая! Стала хлеб в печку садить, ж-ж-жопищей своей крутанула — я в одну сторону, холодильник в другую! — и старуха, скорее всего, сплюнет, и дай-то Бог, чтобы помимо.

Обмакнув промасленные губы платком, старик поднимал слепнущие глаза на сына, когда он, например, приезжал на обед и, встав как вкопанный, с ухмылкой наблюдал за грозным отцом, который пришёл на разборки, но вот покорно сидит и трескает шаньги.

— Что, я спрашиваю, дуракам не живётся?! — задавал дед коронный вопрос.

Тётя Люба проворно забеляла молоком чай для свёкра.

— Дак вот... — приговаривала она.

И Дядька сгибался под наступлением с разных фронтов! Но, может быть, главную-то победу над ним завоёвывало то неведомое, что заламывало его из глубин и держало душу в клинче, сберегая её от расшатывания. Он сцеплял зубы и не пил, пунктуально ходил на работу, а в свободное время перестилал полы в стайке, пилил и колол дрова в проулке, возился в огороде и строил то цыплятник, то баню, то крыльцо... И в такие мгновения казалось, что вот сейчас Дядька отложит молоток, утихомирит пилу, воткнёт в землю лопату, сядет на чурку или перевёрнутое ведро и, закрыв лицо руками, вдруг заплачет навзрыд: так хорошо! Но в один чёрный день счастье, не сказавшись, уходило со двора, а звезда изменяла Дядьке, склоняясь над какой-то другой угрюмой судьбой, и он вырывался, исчезал, чудил...

Однажды кололи борова у Ковальчука — тяжёлого, центнера на два. Серёга-сам залез с мелкашкой на забор и оттуда несколько раз смазал хряка в лоб. Боров отчаянно кровил, с визгом и прострелянной башкой набрасывался на забор, с которого щёлкали пульки, и едва не разнёс двор. Ну, напали всем миром, повалили на бочину и, обнажив дрожащую подмышку, сунули в сердце нож... Домой Дядька заявился с размытым пониманием произошедшего. Стёганка, брюки, приبلуда — в крови. Сел на корточки у порога. Молчал, громко сопя прокуренным горлом, да с сокрушением поглядывал на руки, на забрызганные красным сапоги, на приبلуду с рукояткой из сохатиного рога, на пышную Старуху, заводившую на завтра тесто...

— У нас никого нет, Люба? — наконец спросил страшным шёпотом.

Тётя Люба, озиравшая его с испугом (она не знала про борова), тоже шёпотом ответила:

— Не-ет... А чо?!

Бросил приبلуду на пол, из пачки “Луча”, помявшейся в кармане, нервно выскреб плоскую сигарету, обратил розовым колечком от себя, закурил, огненно стрельнув серником, а сгоревшую спичку поспешно втолкнул под выдвижной пенал коробка, где уже было несколько, и даже шаркнул туда-сюда распухшим пеналом, проверяя ход.

— Человека убили...

Старуха заорала во всю челюсть и вон из дома в тапочках на босу ногу, а убиец отомкнул секретер, с утратой запасного ключа переставший быть таковым, и небрежным движением горсти присвоил дневную выручку за хлеб...

— Она, Старуха-то, виноватая, раньше ведь он так не гулеванил, а теперь — погляди-ка! — какие номера откальывает! — на другой день жалилась бабушка. — А ей хрена ли, толстомясой? Зазовёт всю родову на праздник, утром встанут и пойдут на работу, а этот сорвётся и жучит её, и жучит, проклятью! А не собирала бы столы, не водила бы компаний — и жили бы, как люди...

В ту памятную ночь Дядька впервые кантовался в бане, нажёванным обрывком газеты залепив бровь. Старуха, прибежав от Ковальчука просвещённая и настроенная к атаке, напрыгнула на него с мешалкой. Она потом

часто поколачивала его, когда он врывался с бунтом в дом, — то поленом башку расколлет, то кастрюлей навернёт, но если и это не смиряло сожителя, призывала на помощь златозубого, побывавшего в отсидке зятя и ногастую дочь. И, однако же, совсем из своей жизни не упразднила, может быть, пуше Дядькиных выходов пугаясь своей вдовьей доли. Вскоре она прощала ему всё и снова отворяла дверь, а Дядька и подавно примёрз к тётке Любе всей душой и, вытолканный с крыльца, крутился на глазах, а то, встав на завалинку, с бездомным видом заглядывал в окно. И так-то они жили: от покаянья до пьянки, от замирения до новой драки. Однако если Старуха почти не несла внешних потерь, а наоборот, лишь хитрела и матерела, помалу выкорчёвывая из себя мягкое, женское и материнское, то Дядька в борении с ней изменился невыразимо. Нос у него хрястнул посередине, сплющился, скосился нижней перебитой частью, лицо разлезлось шрамами, на голове часто пульсировала кровь, засыхая комками в волосах, а под глазами было синё от свежих и жёлто от выдохнувшихся синяков.

— Терминатор идёт! — кричала ребятня и с хохотом пряталась по углам, а то преграждала дорогу с автоматами из ножек разобранных стульев и с татаканьем расстреливала человека.

— Умирай, мужик! Ну, чо ты не умираешь?!

Но он всё шёл, всё не умирал, и ребятня, став постарше, настигала его в проулке тупым пинком под зад.

— Кого это?! Меня-то?! Ха-а, пальцем деланные... — бубнил Дядька, горбато стоя под небом, и перебором раскисших губ считал кусачую стаю: — Раз, и два, и три... Всё, запомнил недобитков!

Он уже так выкрепился в этой жизни, всё в нём столь притёрлось и притерпелось к её щипкам, зуботычинам и ударам под дых, что Дядька, кажется, и не чувствовал боли, и не было на нём такого живого места, ткнув в которое, всяк ткнувший не карябал бы омертвевший рубец. Ночью, не морщась, анестезированный спиртом, смородиновой брагой или тройным одеколоном, он рвал пассатижками бородавки или состригал их ножницами, а утром, шаткой рукой бреясь перед осколком банного зеркала, долго гадал, отчего на лице запёкшаяся кровь. Доняли зубные корни, Дядька вылакал пол-литра в сенцах амбулатории и без наркоза сел в стоматологическое кресло, послушно раскрыл пасть. Он только протяжно и тихо стонал, когда свинцовые ноги оставались позади, колени, дрогнув, загребали в эту найденную слабинку, а на лицо с бешеной силой налетала земля. И Дядька падал беспомощно, не успевая выпятить рук, словно калека на костылях, и только слегка отворачивал голову, и все камни, все дорожные колдобины и бугры чудом миновали его открытые виски, на которых колотились голубые вены, текли голубые реки его грустной жизни.

Вокруг смеялись:

— Бортовая развалилась!

А если Дядька всё-таки брёл, и ноги то бежали впереди, то передыхали, и он парил для балансира руками, со знанием дела сообщали:

— Идёт на посадку!

## IX

У Дядьки была удача в жизни, он часто ловил руками то неуловимое, что в сибирских сказках и легендах выковалось в одно короткое слово “фарт”. Он, скажем, нюхом чуял разные полезные штуки, незримо окружавшие нас, будь то лопошайка от дюралевого весла или ржавый медвежий капкан, банка с коркастой краской, которую Дядька разводил бензином, или топор старинного производства, за товарное клеймо ценимый в народе как особенно бриткий, а то он среди бела дня поднимал на лобном месте деньги... Однажды по утреннему холодку шёл в Казарки из Подымахино, где после ругани со Старухой отлёживался у родителей, и похмельная сухость зудаела во рту, а в кармане — пыль да дыра... И вдруг увидел на дороге пять рублей, потом ещё пятак, и дальше россыпью. Когда всю мелочь пересчитал, оказалось ровно на бутылку “катанки” (“Катюша”, “Катюха” — так он ла-

сково называл её; она стояла тогда двадцать рублей)! Или нанялся к Снегирю косить и ставить сено на той стороне Лены; с другими мужиками шибал сочную пену июля, словно выбирал веслом зелёную реку, и скоро измалхался в мыло, но вдруг встрепенулся, точно поймал жаркий запах дичи, за каким-то бесом полез в ольховник, нагнулся и, разорвав корешки трав, по-звериному стал рыть мягкую землю руками... Из кустов вышел с курковой двустволкой шестнадцатого калибра! Водит пальцем по отсыревшему прикладу, в котором жучки проделали ходы, скребёт ногтем по гнилым стволам с осыпными раковинами внутри, показывает, где и сколько отпилит.

— Ну, Длинный на большую дорогу собрался! — с восхищением качали головами мужики.

В другой раз Дядька с утра пораньше пошёл на свой покос. К обеду, когда припекло и траву точно присыпало песком, а вчерашняя кошенина ещё обдувалась в валках, косарь наловил кузнечиков, настроил сосновую удочку и, закатав штаны, босиком забрёл в реку. Светлая мальчишья мечта, за которой он гнался всю жизнь, но вот изноровился, прихлопнул её горстью и насадил, длинноногую и прыгучую, на крючок! И было так: паутинный блеск лески, чуткое колебание пробочного поплавка под стрекозой, присевшей на миг передохнуть, затем глубокий чмок, и вот с литым ворочающимся свистом сорога вываливается из воды на берег, а стрекоза висит в воздухе на одном месте, слепя бирюзовыми крыльями, и ждёт, когда на воду снова упадёт поплавок, чтобы тут же его оседлать... Но в эту чудную пору: жёлтое плавленье солнца, стеклянное течение реки и шорох поспевающего сена, а хрустящий домашний хлеб с малосольными огурцами и утреннее молоко в бутылке — в прохладной осоке у ручья! — проклятая нога возьми и споткнись на чём-то скользком, как налим... Откинул удочку, вышер из реки добычу — лодочный мотор “Ветерок-12”. Как он там оказался?! Его напрочь затёрло илом и песком, ни разобрать поршневою, ни провернуть заклинивший винт, и Дядька разгромил находку кувалдой, сдал по частям скупщику металлов и под завязку затарился водкой. От покоса он сразу устал, и ливни, зарохотавшие в августе, поморили валки, они “проросли” — как волосы на своей непутёвой голове, уже осенью отрывал Дядька граблями от молодой отавы созревшее чёрное сено...

Косил он каждый год до самых картошек, а иногда пластался и по листопаду. Траву не нужно было поднимать в валки — она стояла сухой на корню, коси да копни под вечер, только от её мёртвой шершавости быстро тупились косы, и через час-два Дядька меткими кивками молотка оттягивал свою “девятку”, щупал пальцем кривое лезвие и оно, нашлифованное до трудового блеска, едва слышно звенело от ногтяного щелчка. Комсомольской спешки на сенокосе Дядька не любил и не терпел больше, чем при любой другой работе. Метая сено, он долго кружил подле заложенной копны, подыскивая навильнику “самое место”, и над ним, над его включенными волосами и неприбранным сеном посверкивали тучи, полные ливня и голубого электричества. Его поторапливали: “Солнце к закату идёт!” или: “Дождь закрапал!” — а он лишь гнал наружу кончик языка, взмахнув над головой вилами на длинном черенке, будто вершил какую-то свою революцию, и сено, как живой флаг, трепалось на ветру, разлетаясь травинками, зато когда наконец обретало своё гнездо, все вдруг видели, что так-то и вправду лучше... Ещё Дядька сгородил навес из жердочек и целлофана, дощатый столик и лавку. С утра он кипятил на костре смородиновый чай, хлебал, обжигаясь об эмалированную кружку, с которой уже не мог совладать и обеими руками, и заедал подвяленной на солнце земляникой, на коленях отыскивал её — расплзающуюся на пальцах — в лугу. И, может быть, в эти блаженные минуты думал о том, что вот ещё лет десять-пятнадцать — и он уйдёт за Орлом-столяром, Лёхой-кузнецом, Венькой с Береговой и другими забуддыгами, а навес так и будет стоять, лишь столик с лавкой потрескаются и побуреют, но в лиственничной чурке будет по-прежнему виден трёхгранный прокол от стальной “бабки”. И всё здесь сохранится как при нём! Даже бутылки с питьём будут днеть в траве, а от них — вернись он облаком и открути пробку! — прямо в ноздри пахнет кислым квасом из жжёных корок.

Только лес, надвинув зелёные шеломы, грозно наступит на дуг, и сосны с ёлками, берёзы с осинами через много лет подкрадутся к навесу, а там вздыбятся над ним, втопчут в землю деревянными копытами, обратят в прах и пыль, и навес, и дуг, и луговую Россию, и судьбу самого Дядьки, и землянику, как самую неизвестную жизнь! И бегущий спешный подлесок уже не вспомнит ни косаря, ни его шепчущей косы, ни однообразного дымка “Примы” в то священное время, когда Дядька, забыв про литовку, сидел, отрешённый, на лавке и мастерил пилотку из старой газеты, сплюнявив уголки языком, а то глядел на скошенную поляну, на солнышко, умирившее в консервной банке вместе с огоньком окурка, на алмазную после грибного дождя дрожь листвы...

С ним стало твориться что-то невообразимое, чего и мы не ожидали от него.

За год до своей смерти он кинул в бабушку поленом. Было это сухой золотой осенью, все копали картошки, а Дядька, плюнув на всё, кочегарил в поварке печь, выпаривая из горсти макарон нечто обильное и склизкое, чтобы сразу заткнуть глотку. Бабушка крутилась рядом, налаживая оперативную работу, беспричинно отворяла дверь и запускала в поварку последних злых мух. И злые мухи кусали Дядьку, и с этими укусами Дядька сам злел, припадая к бутылке жёстким ртом и забывая прикрыть дверцу. Из печи выпрыгивали угольки, потухая на полу, прижатые бабушкиным суконным ботом, и старуха боялась, что Дядька спалит поварку, а потом и село. Наконец слезка опостылела, а ядовитые замечания костровыми искрами выстрелили в душу, где и так всё насторожилось в порох, и Дядька вспыхнул, с диким рёвом схватил полено и, когда мать сиганула через двор в сенцы, со всей нагноившейся в сердце яростью метнул в неё убойный снаряд. Бабушка, поймав рукой коленку, загремела на крыльце... С огорода прибежали на гортанный крик, сцапали пропойцу за руки-ноги и под бабушкины слёзы, под скорбный причет и мольбу пожалеть “зайца глупого” выбросили, как мразь, в проулок. Дядька, со стоном упав на спину и от боли закатив глаза, валялся у всех под ногами, распластанный и расхристанный, и вдруг тихо засмеялся! И страшен был этот осмысленный трезвый смех в поверженном, и kloхтал он в Дядькином горле, словно горящая свечка на окне, когда во дворе буран и в доме качает занавески, но вот раму толкнут настежь, и смертельный воздух нахлынет разом...

— Чего ты — как дурак-то?!.. — спросили Дядьку.

— Мамку жалко...

И уже не только он ведал о себе всё, но и бабушка, на хромо́й ноге провозжая проспавшегося, смотрела в сутуленную спину и горевала о нём, в известном до запретного знания, и тоже смиренно ждала восковую жуть и прозревала, что печаль эту не обойдёшь, не объедешь по бревенчатому мостику. Она лишь глуше охала, уже не веря ни в свои, ни в небесные силы, которые обуздали бы разрушение на земле, и только заклинала подкрылка не шляться в мороз и не мчать на мотике, как скаженный, и когда Старуха благоприятно заболела, понадобился длинный рубль и Дядька свёл коняшку со двора, а вернулся пёхом, бабушка вздохнула вольготнее:

— Слава те, Господи, сплавили заразу с рук! Как бы ишо уследить, чтоб не замёрз в дороге...

Однако это она помечтала, что с продажей мотоцикла беду отвадили от ворот. Теперь, как на танке, Дядька патрулировал из села в посёлок и обратно на тракторе, нигде не встречая преграды. В метельную белую непогоду, когда воровски притащил из леса тяжёлые баланы и сбыл их Сане Снегирию, он сокрушил у Катанаевых палисадник с той убеждённости в своей правоте, с какой устраняют на исторической дороге лишнюю огорожку, зловредных врагов и вообще всяческие предубеждения. Соседка Катанаевых, бабка Зоя, в одном потёртом платишке и в обрезанных валенках выбежав за ограду, от возмущения трясла головёнкой и стучала кулачком в дребезжащую дверцу, словно та вела в кабинет райкомовского начальства, и, не достучавшись, с подскока плевала за приспускаемое стекло, норовя поразить открывавшийся её гневному взору неясный силуэт лихача:

— Да как ты, моэть, в избу ко мне заедешь?! А то давай, ё-ё-ёп т-твою мать!!!

Но Дядька чего-то не заехал, газанул через проулок, обчихав бабку Зою копотью, на повороте у почты зацепил гусянкой и расщепил основание электрического столба, и так-то, бывало, до утра бледный свет фары без подфарника роился в ненастной зге, как спятивший мотылёк, отображая петлистое Дядькино настроение. И только вспашка была по-прежнему изящная и ровная, словно прочерченная по ниточке. Но управлялись с пахотой, севом и уборкой рано. В зимнее бессезонье, обострявшее в людях чувство общего безвременья и осовелую тоску, кроме вывозки сена-дров и ремонта техники, не было мужикам зачина. Кто-то уезжал в город на автобазу или в лес готовить вагоностойки, кто-то занимал в банке и обрастал подобным хозяйством, на облупленном, но безотказном в службе “Жигулёнке” мотался по районным школам, детсадам и конторам, пристраивая за бесценку картошку с капустой да мясо с молочкой, и скоро вылетал в трубу, на выходе из которой его уже караулили рассерженные кредиторы и наряд милиции, а кто-то ничего не хотел и со страстью глушил водку, наклоняясь головой в могилу, но были и такие, которые хомутали себя охотой или рыбалкой.

О рыбалке нужно рассказать подробно.

## Х

Глубокой осенью под забереги, а с замерзанием реки под окрепший лёд на Лене ставят уды. Это древесная, чаще ольховая, вешка около двух метров в длину, заострённая с кобля. С этого конца, на некотором расстоянии от него, высекают ножом бороздку и опоясывают её капроновым поводком в 35–45 сантиметров с крючком крупного номера, на который насаживается живая рыбка. Наживляют чаще за хвост, причём ищут такую заветную точку между малым задним плавником и хвостом, где нет позвонков, или же продевают крючок со спины и тоже норовят подцепить за мясо, не повредив костей, иначе рыбка быстро погибнет. Уду с живцом поскорее в прорубь, а чтобы та не промёрзла, накрывают её льдиной или дощечками и утепляют снегом. Рыбка плавает на поводке у самого дна, и налимом, в зимнее время наведываясь из илистых ям к берегу, заглатывает наживку с крючком. Лунки дырявят на отмелях возле брустверов, на вытеке из омутов и в местах впадения боковых речек и не выдвигаются на глубину, как на некоторых других реках, а, наоборот, жмутся к берегу, и бывает, что расстояние от дна до льда — кулак пролезает со скрипом, а вот здесь-то и колобродят самые огромные налимы! Там, где издавна пролегают их пути, от вешек тесно и некуда лишнюю приткнуть, а если рыбалка на этом участке реки не ахти, их совсем жидко. И в калёный, ядрёный, опаляющий дыхание мороз, когда туманом завешен мир, и чёрная, с серебряной подпушью заиндевелых лиственниц и горловой желтизной сосен, изгибается в хребтах тайга, стекая к реке рваными распадками и сумасшедшей гонкой заячьих троп, а на угоре в белом ужасе жмутся друг к другу избы, и напористые дымы зримо просверливают небо, даруя надежду на тепло и уют в холодной России, нужно смотреть уды. В противном случае лунки возьмутся полуметровой голубизной, и уж тогда отвоюй уду с налимом у реки, у мороза, у жестокой рыбацкой судьбы!

В такие дни, собираясь на реку, надевают всё тёплое, спасительное, лучше вязаное, в чём запутались бы мороз и хуе ещё на дальних подступах к телу. Обувают обычно бахилы или валенки с прорезиненной подошвой; штаны суконные или ватные, чтоб не процеживали ветер; куртка суконная, стёганка или полушубок; и две пары рукавиц: шерстяные или из тонкого сукна, а в запас — однопальные верхонки из овчины. На голову шапку с ушами, которые тесёмками завязывают под подбородком, и обязательно из натурального материала — синтетика на улице встанет коробом. На лицо — пуховый шарф, глядят одни глаза. Вот на еловых голицах<sup>1</sup> приходят на реку, проступаясь на задую лыжне, которую зоркий рыбак определяет по едва видимой

<sup>1</sup> Голицы — лыжи без камуса.



тени или по волнистой снежной зыби, и первым делом убирают лопатой снег возле вешки. Иногда под дощечкой покажется гладкий и тёмный, в змеиных полосах лёд, и это значит, что прорубь взялась скорлупой чуть-чуть, можно провалить её ногой. Однако чаще лёд бывает ноздреватый и слоистый, грязно-голубого оттенка, и бьёшь такой, раз за разом отчерпывая сухую крошку совковой лопатой с множеством отверстий, а уж только потом в малый прокол с шипением брызнет вода. Но вот и снег откидан, и в бой идёт четырёхгранная пешня с берёзовым черенком, округло утолщенным на конце. Ниже этого головастого стопора имеется верёвочная петля под руку. И утолщение и петля для того, чтобы пешня, внезапно выскользнув, не юркнула на дно. Прорубь долбят с краёв по кругу. Первый зимний лёд, ещё не давший осадку, под ударами пешни содрогается, лопается и падает с жестяным грохотом, и кажется, что обледенелая пешня — в масштабах реки иголке ровня — прободает и растерзает на сверкающие нутряной солью куски весь промороженный мир, или сама, как стеклянная, рассыплется с очередным взмахом и мощным вонзанием в лёд. В самый мороз, который жмёт за сорок и обжёвывает мочки ушей, шарф от дыхания куржавеет и надирает лицо забралом, и стареет от инея всё: потная чёлка, вылезшая из-под шапки, брови и ресницы, жёсткая щетина на скулах, воротник свитера, суконный ворс на куртке и штанах, пушок на голых руках, которыми извлекаешь из налимья крючок или меняешь гольяна, выловив его из капронового котелка с водой...

Ледяная крошка на глазах тускнеет, куртка на спине и боках белеет от изморози. Скинешь такую с пылу с жару — через миг совершенно жёсть, раскорячится на льду сама по себе, словно кулачный боец, согнув рукава. Застынув в свитере, потянешь, будто с чужого плеча, — хрустит, распяливается на заданных руках, трескается всей своей льдистостью. И тогда погоди, когда тело обживётся в одежде, и она задышит с тобой. И вот последний укол, угловатый нос пешни, раскалённый в банной печи и выкованный молотком до комарьей жалящей остроты, прорывается в журчащую лёгкость, и пешенная сталь, ухнув в реку на миг и уже вынырнув, осажённая спасительной уздой, по мере выхода из воды покрывается студёной полудой. Лопата тоже серебрееет, накатанный верхонками и оттого точно глянецвый черенок скользит обмылком, а мокрая крошка, искрясь на солнце, трепещет голубой чешуйчатой рыбёшкой, и сквозь отверстия лопаты бежит вода, капает на валенки, на снег, пока эти отверстия не заклепает ледьшками.

Когда прорубь очищена от крошки, острые края иступлены, а вешка скелота вместе с куском льда, начинается самое интересное, и сердце, как впервые, трясётся в груди, и даже мороз не царапает подушки пальцев. Становишься на колени и, как в первобытное, языческое таинство, заглядываешь в прорубь, хищно рыщешь глазами по дну, рябому от течения, ничего не видишь, а поэтому, замирая дыхалами, возвращаешься к некоей точке отсчёта и уже медленно идёшь взглядом от конца вешки, утопленного в грунт, по поводку к крючку. И если обнаруживаешь его голым, лежащим на дне нерешённым знаком вопроса, или с гольяном, который играет на течении или уже уткнулся в камни, а то с пучком болотно-серой няши<sup>1</sup>, всё в тебя в единый миг проваливается сумраком реки, неблагодарностью жизни, суровой правдой рыбалки, всем тем, о чём ты в азарте промысла даже не думал, а вот сейчас, с этой маленькой неудачей, сник от одной только мысли о ней и сразу пропал. Зато уж если взгляд твой, как на обломок склизкого топяка, наткнётся на разботевшую от икры рыбину, принявшую форму реки, её фарватерной силы и стремления, а на фоне жёлтых и чёрных камешков всю пятнистую и потому едва различимую, из сплюснутого рта которой вьётся капроновый ус, всё в тебе взведётся в мощную, изготовленную к прыжку пружину. Ты сбросишь горячие рукавицы и, примерзая мокрыми пальцами к металлически холодной вешке, провернёшь уду несколько раз, пока поводок не выберется весь и рыба не упрётся мордой в вешку, лишаясь простора для рывка, затем ловко подёрнешь уду косым движением вверх и, встречая тугое, секущееся в лунке сопротивление, вынешь на лёд красивое речное

<sup>1</sup> Няша (эвенкийское) — мёртвые водоросли, которые несёт течение.

тело. Тут же со сноровкой оглушишь налима и, грубо отомкнув его плоскую пасть, вырежешь крючок, заякорившийся далеко в бледно-розовом, ребристом, предсмертно сокращающемся нутре. Потом, когда добыча немеет у проруби, а из жабр течёт густая, как гуашь, кровь и, смешанная со снегом, марает нож, руки, заскорузлый от слизи рюкзак, сырыми шлепками металла по живому мясу обойдёшь всю налимышью тушу лопатой, старательнее колотя по напряжённым бокам, и с этими отбивными ударами печень в налиме чудовищно набухает и дома выпрастывается из брюшины молочно-серыми продолговатыми кусками, а с ней горсть-другая песчано-жёлтой жирной икры.

Эта-то печень, макса, да ещё икра и составляют в налиме самую сласть, несмотря на то, что налима справедливо считают сосальщиком утопленников и мясом его многие брезгуют, и по вешней воде, когда он сослепу сгребает на себя сеть, городские хватуны вспарывают ему живот ради максы, а пустую тушу вымётывают за борт.

Промышляют налимов с ноября до конца марта, иногда и до грунтовой воды; но самый клёв, известно, — по первому льду, а потом с середины декабря и в феврале. Рыбаки из местных, закореневшие на добыче налимов, делают реку в строжайшем порядке, отвоёвывая каждый участок, ругаются с хрипом и матом, если кто-то покусится на чужие угодья. С давних времён места поставок уд известны: вдоль брустверов, что напротив Старых Казарок, и до устья Казарихи настораживает свои крючки Витя Никанорыч, чуть выше закрысил полтора-два метра реки Толя Подымахин, Таюрские отец с сыновьями нагородили вешек далеко за Глубокий ручей, а по другую сторону реки лениво смотрит дюжину крючков Плотников, где-то там снова втыкаются Таюрские, напротив Никанорыча на другом берегу — Валентин Ильич, сюда тоже напором лезет неуёмный Никанорыч, ниже Чупров и дядя Милентий, иногда встрянут братья Логиновы, а уж дядя Володя Петрович неизменно рыбачит у Заостровки — и это ещё не все удочки, кто-то уехал, состарился или умер, а кому-то стало не до того... Все давно знают границы без карт и схем! Но в ноябре, едва река отропщит шугой и ещё не оцепенеют снаи между льдинами, рыбаки уже застолбляют своё мелководье частоколом из вешек, прокалывая одним клевком пешни тонкий лёд, от азарта и лихости нарочно залезают на соседнюю территорию и снова орут с пеной у рта, доказывая законность притязаний. Они подрезают друг друга, лепят свои вешки между чужими, единолича свои тем, что вырубают в ольховнике какие-нибудь “не такие”, например, с рогаткой на конце или кривые с сучками, но чаще просто окунают уду в прорубь не комлем, а вершиной. Словом, мудрят!

...И вместе со всеми бегал, застолблял реку, ругался и мудрил Дядька.

## XI

И вот она снова наступала — очарованная пора! С вечера шло-ехало в реке, загоня рыбу в бестечье у брустверов, и в ночь перед ледоставом ямы закипали от живого серебра, рвущего зелёные тетивы китайских сеток, а вдоль береговых припаев маячили огоньки и стучали деревянные колотушки, которыми глушили под перволёдкой налимов, замороженных светом фонарика или игрой колокольчика. Утром белым-белым простором полыхала река, где стекольно-гладкая, где являющая напластование одних льдин на другие, иначе — торосы, и улово кочевало по отшумевшей реке, так что на другой день сети приходили пустыми, а рыбаки с бурами и самодельными ящиками на строяных ремнях теснились у польней, которые щерились на морозе и лакали ледяной воздух голубыми языками, пар от их силового дыхания длительно и чудно разматывался над смиренной Леной. У Дядьки к тому первородному часу всё было готово: пешня оттянута, лопата починена, крючки с проржавелыми от давнего пользования ушками наколоты на пенопластовый прямоугольник от спасательного жилета и поводки подвязаны за цевьё, а гольяны тучищей до двух сотен плещутся в эмалированной кастрюле и, вертикально всплыв, молитвенно разевают сизые рты. Был у Дядьки под водой счастливый камень, возле которого лежала налимышья тропа. Каж-

дый год после ледостава он искал этот валун, выстекливая одну лунку за другой, а если долго не мог наткнуться, психовал и даже швырял верхонки: а ну как свернуло весенним льдом или путейцы загребли железными сетями, когда чистили речное дно от коряг? Но едва древневековый и щербатый, с зеленцой тины и весь в бурой слизи камень открывался в очередной прорубке, Дядька радовался по-детски, будто нашёл медячок, и тут же блаженно успокаивался, неспешно ставил здесь уду с самым жирным гольяном на самом ловком крючке и даже в самое бесклёвье добывал возле этого камня налимов. Также Дядька узнал от стариков, сам ли смикитил, что налим охотнее изымается с жёлтых камушков. Тоже, как заведённый, искал их, без устали колотил лёд, утоплял, а после поддевал проволочной петлёй пешню, сокрушал и весь вечер латал лопату, курил с азартом, наживлял, а через день передвигал вешки на новые места, и всё-таки находил драгоценные золотые, дрожащими руками запускал в прорубку живца и весь затаивался в предчувствии удачи, добычи, победы...

Зимой 1993 года налим пёр на Лене как чумовой. Пуще, до визга и дражной шерсти, воевали из-за реки, крестили уды одну на другую, бомбили лёд с яростью, и лёд сверкал на вымороженном солнце пригоршней серебра, и нищата деревня, ничего более не имея, богата была этой щедростью зимы, Сибири, Лены. Из лунок фонтанами лупила вода, распозалась вдоль берега и отрезала сухой подступ к удам. Тогда соревновались в прыгании по торосам, занятии тем более несерьёзном, что дед не хотел и не умел хотеть скакать по-жабьи, а посему напяливал на валенки кособокие галоши, с давних и будто бы сказочно дешёвых пор водившиеся у него в смешном избытке, или кропотливым муравьём тащил с угора и стелил на лёд мостки из досок. Отец в азарте утопил в проруби очки, которые тут же слизало течением по жёлтым Дядькиным камушкам, и старик, не сразу пережив разор, выдал окуляры из своего пенсионерского запаса, намертво примотав к дужкам что-то вроде уздечки, и потом нет-нет, да и присматривал за сыном, чтобы тот не уронил его очки вместе со своей головой. В ту трагическую зиму Лена словно провожала народ невиданным пиром, последним накануне чёрного затишья России и скорого безрыбья в реке! Налимы тогда были огромны, каких, казалось, не было и уже не будет, а щуки изумрудны и острозубы, так что если при снятии их с крючка пальцы соскальзывали под светло-алые, почти розовые жабры, выскребались они как из тёрка в глубоких, до мяса, порезах, невозможно болезненных на столкновении мороза, крови и щучьей смазки. Зато прогонистые серебряно-фиолетовые ленки с восхищающими радужными хвостами и плавниками цвета февральской синевы и остывающей меди клевали, слегка загубив крючок, впрочем, едва уздавших красно-тёмных тайменей с кирпичной челюстью и атомоходным напором в поведении, которые заламывали вешки с такой изуверской силой, что по одному косому положению уды было ясно, кто сидит на крючке или уже разогнул его, как солонинку. Глухих, как поленья, рыб складывали штабелем в тёмной кладовке, предварительно помячкав в снегу, чтоб не забыгали! Белая рыба, которой было не так уж много, солилась в бачке, а налимов едва ли не каждое утро дед шилил ножовкой на пороге. Бабушка жарила-парила на двух сковородах, обваливая рыбные пятаки в подсолённой муке и запашисто, с золотистой корочкой, запекая максу, которую мы, ребятишки, тут же приватизировали воровским способом. Или она варила в большой кастрюле уху, к вечеру разбухавшую рисом так, что ложка ради научного эксперимента стояла торчком, неизменно распаляя воображение деда сытостью блюда и нашим неумением есть рыбу всякий день. Но больше того удивляло деда слабоволье наших животов, ибо только в кишках у старика резьба была крупная и нерушимая, а наши гайки срывало от любой ерунды, и бабушка в качестве закрепителя прописывала горсть-другую сушёной черёмухи. По праздникам или именинам бабушка варганила в русской печке пироги, пахнущие головешковым

<sup>1</sup> Быгать — примерно то же, что и сохнуть. В случае с рыбой, мясом значение слова полнится такими смысловыми оттенками, как “принять несвежий вид”, “потерять вкусовые качества”.

дымом, но налимы к Новому году приедались настолько, что, выбегая с куском пирога во двор, мы тайком скармливали рыбную прослойку собакам, пользуясь только рис и пышный мякиш с манной посыпкой. В собачью столовую, которой командовал дед, шли также налимы головы, и комбикорм от этих голов был жирный и клейкий, а собаки жадно хапали его из чашек, брели после по двору шатаясь и, будто с великого похмелья, опухали в своих будках, лишь по неотложной нужде задирая лапу на огородный столбик...

В это фартовое лёгкое времечко Дядька шалел, а терпенье его источалось на проверке дюжины уд, после чего он затаптывал лопату и пешню в сугроб и прямо с реки убежал “в одно место”. Оглушённые налимы, выкупанные в снегу, копались у него за пазухой, и от их залоснившейся слизи телогрейка была “хромированная”, как с усмешкой говорил сам Дядька. Когда он запивал на долгие дни и ночи, смыкавшиеся в сплошную горелую полосу, как будто Дядька выжигал один отрезок жизни, чтобы через него зараза не переметнулась на другой, светлый и незапятнанный, на который Дядька всё надеялся и какой несмотря ни на что искал, он освобождал из вольера черно-белого Тарзана, мясистого дворнягу до мозга костей, и этому действительно вверял какой-то особый, вящий смысл. После отсидки в загоне кобель, словно сама Дядькина душа, утомлённая постоянством рёберной клетки, дурил от свободы и уличного многолюдства, с бабьим визгом обнимался и любовно слюнявил лицо языком, а то, ударив лапами в грудь, для полноты ощущения ронял на спину и, завихрившись, срывал шапку как ненавидимый знак их с хозяином основного различия. С шапкой в зубах разбойник улётывал в переулочек, чтобы растерзать добычу в закутке, откуда Дядька манил кобеля коркой, а тот довольно урчал и вопреки логике не вёлся на дешёвку. Все запойные дни хозяина кобель следовал за ним по заутольям, готовый схлестнуться со всяким, кто перейдёт им дорогу. Оставаясь на стрёме у чужих ворот, пёс ожидал, иногда всю ночь, когда милый человек, запинаясь, покажется из шумной и угарной избы, в которую собакам не было хода, а смрадный сброд привечали без разбора, и, облапив штакетник, что-нибудь промычит. От этого голоса Тарзан, будь он человеком, непременно разрыдался бы солёными слезами или, высморкавшись на снег, сказал бы: “Да-а, печально вообще-то!” Но он лишь тёр лапой за ухом и чихал, как если бы к носу прилепился тополиный пух, да заглядывал голодными глазами в пустые руки хозяина. Или тихо поскуливал, тычась мордой в коленку, может быть, от жалости к дорожному существу, так ласково теревившему его затылок и тоже едва не плакавшему от любви к своему верному другу:

— Что-о-о, Тарзанка?! Только ты, бедолага, и ждёшь Длинного...

К середине зимы Дядька забрасывал свой промысел, замораживал с удами поймавшихся налимов, а складированных в сарае пропивал. Но и это не могло его остепенить, и он отчерпывал в склянку живцов и вскоре переводил на водку. В апреле, когда синели снега, он, словно проснувшись, выползал на реку бескрылой букашкой и колебал вешки, потому что солнце нагревало дерево, вокруг которого лёд вытаивал воронкой, и если удавалось вызволить крючки из-под льда, это как-то, наверное, утишало его горе и ненадолго окапывало чёрную полосу, всё разрастающуюся безо всякого ей сопротивления. Однако чаще снасть зацемяляло льдинами, а с нею и надежды, которые Дядька возлагал на рыбалку. Вешки словно в укор качались на тронувшейся реке, к Первомаю убиравшей от берега все ледяные сходни, и всё бесконечно, губительно, замкнуто повторялось из года в год...

Бабушка однажды подковырнула:

— Налимов ловишь, а всех пропивашь! Хоть бы рукавички мало-мальские справил себе, а то ходишь как пролетарий: ни ва-а-режек, ни ша-апки путной! Всё как есть дедово потаскал-сносил, ютишься по норам...

Дед (он к тому времени ослеп, возили в область покупать хрустальные глаза, однако было поздно) всё слышал, но неожиданно не закричал, не полез в перепалку, а мужественно выждал конца разговора и коротко, да весело бросил из-за тряпичной задержушки, отделявшей кухню от спальни, незнакомое, по-своему понятое им слово, услышанное от городского человека, который на крытой грузовухе брал по осени картошку:

— Бо-омж!

Дядька, загремев табуреткой, взмыл сумасшедший и вполне способный на убийство.

— Кто-о бо-о-омж?!.. — после чего спикировал на тракторе к реке и, светя фарами в ночь, с ожесточённой радостью смолотил гусеницами все свои вешки...

Потом с рыбалкой стало глухо, а тракторным ремеслом без топлива не разжиться, и Дядька то и дело являлся с реки порожним и трезвым, стеснительно обедал и в задумчивости ломал спички в зубной дыре. Он, как раньше, иногда ночевал у родителей, может быть, казнясь тем, что нужно возвращаться к Старухе ни с чем. Воду голянам, жившим в двухведёрной кастрюле под полом, он забывал менять, а Старуха не делала этого ему назло, и рыбки всплывали животами вверх и хрустели на зубах у кошака, караулившего маленькие смерти на проволочной крышке. В это лихолетье Дядька перемогался случайным хлебом, грузил навоз на телеги, возил снег из оград, колол дрова и носил воду, а иногда просто набирался “катюхи” под какие-то будущие дела и пропадал бесследно и бесславно. На радость загульному племени вызграла лихорадка с цветными, а потом и с чёрными металлами, и в посёлке заработала приёмная точка, слатывая в капроновые зобы мешков сковородки, провода, самовары, топоры, шестерни, медные патрубки, “сапоги” и винты лодочных моторов, радиаторы, катушки электрообмотки... Но всё это были пустяки, а вот когда по весне затопили паром, разом оборвав связь с соседним берегом, где летняя дойка, пашни и сенокосные луга, и льдом откусило рубку, то-то было потехи: дизельную распотрошили автогенном, а уж останки расковыряли ломиками! И Дядька тоже подеустился, смял сапогами и сдал корчаги, которыми запасал живцов. Кажется, никакой булавкой он уже не крепился на белом свете, однажды найдя этот опасный люфт жизни и смерти, эту неосязаемую младенческую хрупкость бытия, эту пустоту себя в себе, эту разверзшуюся в его судьбе воронку, в которую можно пихать и пихать кровотокающую душу, пока, отлетая, не ушибётся о могильный камень. За корчагами он вынес через бабушкин огород алюминиевые желоба, отвалил выдергой амбарную половицу и конфисковал все медные и латунные чайники с отгнившими носиками, запчасти от “Ветерков” и бензопил, а потом и вовсе волок приёмщику — молодому и цельному двухметровому мужику, уже медленному и плешивому, никогда не ручкавшемуся с клиентурой и вообще равнодушному к чужой гибели, — всё, что найдёт, украдёт, разроет, будь то канистра под воду или обломок весла. Но когда все овраги и ямы прошерстили, а трактор, который Дядька подтачивал на пропой, с волнением видя нехватный объём работы, отняли с позором, он за стакан водки и несвежую горбушку сбаврил Хохлу грохочущие в кармане гачечные ключи. Это было как будто последнее земное, ещё державшее его здесь, и наутро он сам, должно быть, удивился освобождённости от тягла непроданных вещей...

Однако не всё ещё было потеряно, и едва по весне подтекал снег, вымывавая залежи полезных предметов, Дядька бродил по посёлку и собирал в мешок алюминиевые консервные банки, раздавливал камнем на пустыре, дабы придать товару требуемый габарит и способность к удобной транспортировке, плющил заодно и жестяные, но обман рано или поздно раскрывался и поставщика учили, стараясь не повредить телесную подробность рук и рёбер.

— Ну, Бомжара где-то чего-то надыбал целый куль! — злословили вчерашние мальчишки, с деревянными автоматами окружавшие в проулке, и эта грязная недеревенская кликуха вилаась и каркала над Дядькой до его смерти.

Она, шпана, выслеживала его в проулке и месила без почтения, или сзади ради смеха роняла лицом в землю, когда, один-одинёшенек, он сидел на теплотрассе и вышелушивал в обрывок газетки найденные окурки. Теперь они облаживали, чтобы завладеть водкой, впинывали шапку в снег или грязь, и уже до того Дядька был немощен, что и лопата с пешней, которыми он проверял уды, не спасали его, и даже силы, чтобы взмахнуть чем-нибудь, простереть над расклёванной головой руку и оборонить себя, не водилось в нём.

Всё изошло, истаяло, иссякло! Одна прежняя крохотная слава землепашца пылилась с районными газетами в могильных склепах библиотек...

С землёй Дядьку связывало ныне лишь картофельное поле, после вспашки разделяемое тычками на две половины — его и Старухину. Свою картошку он ещё в августе прямо с куста разбазаривал горожанам, рыскавшим по деревням дармовщину, к осени корыстился Старухиной долей, и Старуха проводила мобилизацию между ближайшими родственниками. Те пробовали скрутить, возились с Дядькой, как тараканы с немытой поварёшкой, а поскольку обуздать не получалось, Старуха вырубала нарушителя границ чем-нибудь не подеудным, но действенным.

Когда и с огорода вытравили, Дядька стал кормиться возле Хохла.

## XII

Хохол торчал на пенсии, опутанный вчерашними тайнами и нынешними заботушками. За прошлые подвиги он уже отсидел, и с юридической точки зрения они его не волновали, а вот с настоящим была определённая нервность, поскольку почти всё, чем бы Хохол ни промышлял, попадало под статью. Осенью он мышковал по опустевшим дачам, экспроприировал железные печки, лопаты, грабли или тепличные рамы со стеклом. Он учил своих мальцов жизни, и они воровали с огородов молодую картошку и капусту, меняли у киргизов на шмотки. Зимой караулили на трассе желанные фуры, идущие дальше на Север. На поворотах и затяжных подъёмах длинные неуклюжие фуры спотыкались, плелись черепашим шагом. Здесь-то шныри и вспрыгивали на подножку, запархивали внутрь фургона и выпрастывали на дорогу всё, на что ляжет рука. Сам Хохол ехал сзади на старенькой, но ходкой “Ниве” с выключенными фарами и открытым багажником, который тем более увеличивался в объёме, что заднее сиденье за ненадобностью вынимали. На всякий случай в такие ночные маршруты Хохол возил обрез — две смерти в стволах. Впрочем, это лихое занятие вскоре отпало само собой: выученные горем водители стали запирают фургоны на замок. Но Хохол не отчаивался, справедливо считая уныние смертным грехом, и завёл торговлю разбавленным спиртом, из коммерческих соображений получая его в городе от знакомого врача, то есть действуя по предварительномуговору, а чтобы придать продукци особый знак качества, который выгодно отличал бы его спирт от суррогата других барыг, Хохол примешивал к пойлу димедрол. Как человек, Хохол был прост в общении, а душою широк невероятно, и потому, не задирая норку, скунал за спирт всё. Нощно и дённо его хозяйскому оку представляли кули с картошкой, комбикормом и овсом, трудоспособные и временно безработные бензопилы, рыба и свинина, ковры, канистры с бензином и без, рубли и гвозди, метлы, ягоды, живые кролики и обезглавленные, кровившие в мешке петухи и куры, черенки для вил и берёзовые топорщица, которые были тем необходимее в хозяйстве, что сам Хохол был на редкость пахоруким. Всё это богатство складывали Хохлу под замок и отбывали, удалые и возбуждённые, под поминальный звон бутылок, затыкаемых газетными пробками. Бутылки Хохол тоже принимал, мыл, поднятые с помоек, в цинковой ванне с мутной водой, разумея, что спирт сам выжжет заразу. Потом он даже перехватил по дешёвке станок для закатки пробок, резиновый шланчик и спиртомер, короче, составил своё производство на крепкую ногу.

Зависела от Хохла вся местная бражка. Жёны пропойц чехвостили проклятого скупщика, жалобили детскими слезами, а он пропускал мимо ушей. Тогда капали в районную газету, и реденько, ради служебной галочки, Хохла ловили на продаже палёной водки. После этих проверок Хохол резал бычка или корову, мазал кого надо парным мясом по губам, но самообладания и личного достоинства не терял и, выждав неделю-другую, вновь бесшумно открывал лавочку. И уже не просто везли на санках или в тележке стиральную машинку “Малютка” или несли в кармане цепь от “Урала” и свечи зажигания, не просто брали на детские выплаты “пузырь” или два, а со всеми потрохами, однажды и до гробовой доски, сдавались в рабский наём. Наплевав на горькое своё, иногда всей забубённой семьёй, от мала до велика, ко-

пошились у Хохла в огороде, ограде и стайке, пилили и кололи дрова, разгребали хлам и по зловещей указке хозяина закрепляли колючую проволоку над забором, через который детвора общипывала ранетки, а в обед ели на крыльце то, что им выставляли в тарелке за дверь, и к окончанию рабочего дня отчаливали на неверных ногах, но с прекрасным и радостным чувством трудовой занятости.

Наступал час, когда прогнивала некая важная пружина и этот сложнейший аппарат, налаженный Хохлом до послушности механических часов, вдруг начинал сбивать. Такое случалось, если кто-то из человеческого конвейера валялся мёртвым в дороге, распался печенью, загибался в пьяной драке или захлёбывался сонной тошнотой, вообще однажды уезжал в красном рубище на погост. Вскоре святое место занимал другой батрак. Так, словно передёргивая затвор, Хохол расстреливал обойму из мужичков ближнего околотка. Ездил на машине, тихонько агитировал дальних поселковых. И эти тоже рано или поздно исчезали, а Хохол, бывая в настроении, с бодрым свистыванием осведомлялся:

— Чё-то Васю Шевелёва не видно! Занял у меня тридцать рублей и смотался... Уехал, что ли, куда-то?

— Уехал, ага, — отвечали Хохлу. — В микрорайоне “Осиновый” поселился!

— Вот козёл! — искренне восхищался Хохол.

На вынос, тем паче на кладбище, Хохол при всякой погоде не ходил. “Он такие мероприятия не любит!” — охотно говорила его жена. Он и сыновей приучил “не любить” и вообще не разбрасываться по мелочам, а строго идти к одной высокой и светлой цели. И они шли: до свадьбы косили от армии и осваивали модные профессии, шерстили технические книги, а художественные называли хренотой на вате, кошили тити-мити на городскую хату, на крутую тачку, на отпуск в Таиланде и, озирая красноречивый идеал отца, ни тушить поселковые пожары, ни зарывать алкашей тоже отроду не ходили. Пожалуй, только злой и обидный смех над теми, кого пошили на другую колодку, был единственной бессмысленной тратой, которую дети Хохла позволяли себе. И жил-был Хохол счастливый и сытый сам, и вся его семейка жила-была счастливая и сытая. По праздникам дети приезжали из города на отменно дорогих иномарках, ради пущего форса легонько подтыкая бамперами многострадальную “Ниву” главы семейства, который с упорством, удивительным в данном случае, не менял отечественный мотор на заграничный, подразумевая, что блатных дружков не сдают. Хохол, к своей чести, не делал ни для кого уступок в лексике и, как со всеми, объяснялся с отпрысками ёмко и демократично: “Вы чё, козлы?!” — а они со своим пустым смехом и с полезными покупками шествовали в дом, в упор не замечая голодных людей, сидевших у калитки...

Вместе со всеми и Дядька с раннего утра отправлялся к Хохлу за разнарядкой. Он перетаскивал ему останки себя, но по-прежнему упорно шёл за водкой. По дороге Дядька выдумывал повод, за чем бы он мог нынче появиться у Хохла.

— Маркыч, дай-ка молоток: дверь-то в берлоге осела, гвозди вылезли! — через высокий штакетник, как сквозь решётку, и не здороваясь — Хохол всё равно ни с кем из поселковых не кланялся — начинал врать Дядька. — Пробовал кирпичом подколотить, да кирпич-то печной, сгоревший — рассыпа-а-атся...

Он вежливо тряс калитку, не умея поддеть хитро спрятанный по ту сторону крючок, которым Хохол пользовался в качестве заградительной меры от ночных воров и отслуживших, а стало быть, более не нужных ему человек.

— Где я тебе, козлу, возьму?! — скрываясь на крыльце, хрипло и неохотно отзывался Хохол и скрипел дверью, уже размышляя в рабочем порядке, что надо из медицинского шприца нынче же пролить все шарниры машинным маслом.

Но совсем Хохол не уходил, а, скрываясь на веранде за оконным тюлем, высматривал сквозь стекло, когда существу наскучит ждать и оно изыдет, бормоча:

— Ну, Хохляра поганая, скупердя-а-ай же ты! Я тебе столько молотков пожертвовал, а ты: “Где-е возму-у-у?!..”

### ХШ

Это Хохол и растолковал Дядьке нынешнюю безнадёгу, тщетность выживания крестьянской Руси, и за холопскую терпимость премировал даровым советом, а Дядька ретиво связался с лесом, в золотые дни, кормившие год, собирая грибы и ягоды, которые Хохол транспортировал по своим каналам. Утром Дядька клянчил в дорогу пойло, а если удача была за ним, то ловил ещё хлеба горбушку, коробушку спичек и пакушку дешёвых сигарет, которые он с голодухи смолил неустанно. Наконец под кучевыми облаками, на противоходе ему летевшими в посёлок, плёлся в перелесок. Луговой ветер шевелил волосы, а кузнечики, вспрыгивая за голенища кирзух, изминались с едва слышным хрустом, и от мальков безумно закипало под мостом, с которого Дядька, свесившись через перила, плевал на воду или крошил изгрязнившийся в кармане мякиш. Оказавшись в лесу и первым делом выпил водку из горла, Дядька сразу наполнялся нездешней слабостью и упал на мох без звука, как будто ему нечего было сказать миру. Так-то он, труп трупом, часто лежал в молодом осиннике против кладбища. Здесь ещё недавно стонала и металась под его плугом земля, раздувала, жаркогубая, пыльные поздри, по осени рождая вечное своё, ржаное и пшеничное, а к зиме рядилась в серебро и, белопростынная, вешним дыханием проталин и горловым кровопусканием ручьёв просыпалась лишь под апрельскими метелями. Но вот и лесок возрос, понёс глянцевою зелень, а потом затрясся красной чахоткой и даже — всё на Дядькином веку! — лист уже отболел и осыпался. Осинник стал сквозным, отверстым ветрам, как изба в ранние холода осени, когда, промывая стёкла, распахнут рамы в палисад, сырой после рассветного дождя со снегом, и вдруг поперхнутся студёной свежестью, нахлынувшей от мокрых листьев и запотевшего под ними тротуара. И в том, что Дядька — свидетель этому всему, соглядатай и участник действия, называемого вертушкой времени, был свой восторг близкого края! И Дядька словно ждал, когда он сам вымерзнет до доньшка и оборвётся наземь, как со случайно задетой ветки пожжённый заморозком, весь в ребристых прожилках изумрудный лист. Но всё-то не сдавался, месил кирзухами октябрьскую непогоду, рукавом сметая с лица заплесневелые паутины.

До снега Дядька дожинал последние недожатки лета, краем уха слушая голодный хрип журавлей, когда они по старой памяти навещали бывшие совхозные посева и, длинноногие и красивые, колготились в разбогатевшем на полях бурьяне, а потом, поднятые сторонним шумом проехавшего трактора или пробредшего на подойку коровьего стада, распарывали воздух живым трепетом пернатых тел и, нервно и неровно промелькнув напоследок за боровыми соснами, рубиновыми от закатного солнца, наконец, чудесно складывались под облаками в остро отточенный клин, направляясь на богоданный юг из этого отторгаемого края, и тогда не было, наверное, для Дядьки, для оставшегося на земле бескрылого человека большей грусти и печали. Нёс человек рыжики и волнушки, маслухи и сыроежки, иногда подберёзовики с подосиновиками, которые своей огромностью проворно заполняли ведро, но быстро синели, а через час-два чернели ножками и не представляли для Хохла рыночной ценности. Едва эти грибы отходили, как человек срезал под листьями хрустящие, словно ушные хрящи, грузди, налитые вчерашним дождём и опушенные ярко-жёлтой кухтой. Но ещё чаще нащипывал на заброшенной просеке, спутавшей телефонные провода, ведро поздней чёрной смородины, которая от малого тиснения пальцев распалась сладчайшей и бархатной, как арбузное мясо, мякотью с переплетением зелёных и кровяно-коричневых волокон. Приёмщик ныне расквитывался лосьоном “Боярышник”, сменившим медицинский спирт ввиду гораздо большей своей прибыльности и простоты в обращении. С фанфуриками Дядька затворялся в бане и жил там беззаботно всё то время, что ему требовалось для уничтожения добытого, а также для выработки нового дерзкого плана, который снискал



бы ему скорый барыш. Затем, как весенний зверь из берлоги, худой и облезлый, выходил на промысел. Иногда подбегал при людях на улице, дыша смрадом и псиной, с гнойными потёками из покрасневших глаз, под которыми обсохла от слёз на ветру и шелушилась кожа, и всё, помнится, оцетинивалось в душе:

— Ступай, ступай, Дядька!!!

— Ну, ладно, ладно... — понятиливо глянув на девчонку, на её вечернюю смуглость черёмухи, которую ещё не ломали за рекой, едва заметно улыбаясь Дядька чужому зелёному счастью, разбивая в кровь своим комментарием: — А надушился-то, надушился-то!..

— Это чё — твой кореш?! — с издёвкой спрашивала черёмуха, грациозно поправляя на шее белый шарфик.

— Дя-ядька!.. — с болью за него, за звёздный холод его судьбы, тихо-тихо шептал в ответ.

Прогнанный Дядька мотался по улице, в неразберихе шагнувшего к погостам посёлка, как запущенный кем-то маховик, чья механическая работа уже никому не надобна, и вообще ему уже найдена замена, да он-то не может этого принять в своё мазутное сердце, и всё-то мается, неуёмностью своей гнетёт и раздражает утомившихся и повязавших руки других, марает чернотой своего присутствия на одной земле с ними голубую плакатную радость их быта. Не оттого ли он теперь так часто плакал? Грустно, когда слёзы льёт здоровый лоб, и почти всегда подозреваешь себя в чём-то виноватым. Какая же должна быть червоточина на сердце, чтобы грубый мужик завыл чувствительной бабой, рассыпал табак из газетной свёртки и обмяк, будто разваренный, на майском крыльце всего лишь облапив племяша, вернувшегося из армии, а пьяный язык с язвенно-белым налётом извился бы в бесвязной просьбе, и было бы это так, как если бы та, другая жизнь, которую Дядька являл, немым горлом кричала бы этой, весенней жизни, о себе любимой, гибнущей, осенней! И не было понятно: то ли он простодушно рад встрече, которой, может быть, и не чаял дожидаться, то ли, снизу вверх озирая хмельного дембеля, на чьей груди, под расстёгнутым кителем, расплескалось морским прибоем на снег, рябя у Дядьки в глазах голубыми и белыми полосками, и он, Дядька, сам в эти мгновения как будто переметнулся в свою далёкую службу и в ту, тоже светлую, весну, когда он был другой, чужой себе теперешнему, или же он, тленная плоть, со священной корыстью этой уже отцветшей плоти, нестерпимо жалеет, что нет у него детей, огненным палом прокатился по земле, никого и ничего не посеяв живой и животворящей памятью...

Когда дед был ещё жив, — круглый и неуклюжий от больничных порошков, от изморного спанья на кровати за жаркой печкой, вообще от неподвижного стариковского прозябания, он, если бабушки не было дома, всякий раз откликнулся из спаленки на Дядькины шаги: “Это ты, бом?” — щупал впереди себя слепыми, уже лоснящимися руками, и, обнаружив сына по сопению над чашкой с консервной ухой, неожиданно лупил посохом по столу так, что железо ложек-вилок выплясывало в пенале:

— А ты на чьи средства питаешься, Февраль?!

На удар посоха Дядька вскакивал, шатаясь от возмущенья, а из глотки высекался, рос в избе и, толкнувшись в двери, потянутые за скобку запыхавшейся бабушкой, бежал на улицу крик. Вдогон дедов рот рвался истошно:

— Удди, удди отсюда! Удди от греха-а-а!

И они с ненавистью, со склочной кобелиной яростью смотрели друг на друга, отец и сын, и в глазах первого было много пустоты, за которой один лишь край всему, скорый и неотложный, а в глазах второго не было и маленького смысла, чтобы удержаться на этом краю, над глиняным кладбищенским яром, схватившись обеими руками за выползшие корневища, и оба они, сын и отец, были не отзывные для чувств, для мирного существования над одной бездной.

В феврале пятого года дед умер и, жёлтый, как закапанный воском подсвечник, лежал, остывая, укрытый с головой белой простыней, откинув оцепеневшую в какой-то не услышанной прощальной воле руку, похожую на

сухую ветку дерева, надломившуюся во время ночной бури. Дядька, вернувшись с темнотой из посёлка, уперся лбом в русскую печку и захныкал:

— Я следующий!

Бабушка ела его поедом:

— Водка — она, родимая, полилась! Пожучь-ка её!

Он исподлобья окатывал мокрым взглядом старуху, съёжившуюся с уходом старика и ставшую ещё меньше, всю беззащитную и ранимую, как последняя осенняя лужа, которую от утренника до утренника душил капроновая удавка льда, а затем косой Дядькин рот размыкался двумя неровными, одинаково непробритыми частями, и звенело даже в вёдрах, перевёрнутых на лавке у окна.

#### XIV

Новый век вытряхнул Дядьку из седла. Долго живя “баш на баш”, он терялся в деньгах и космически занижал стоимость паяльной лампы или стартера от “Дружбы”. Рассекретив точную цену товару, вставал поражённым в самое сердце: “Не может быть!” — переминался с ноги на ногу и шепелил губами, а потом со стеснением сообщал, на сколько бутылок он пролетел. И ещё долго переживал, но без особой жалости, без жадности итожил незадачливую куплю-продажу:

— Да бес с ними, с баксами вашими! В крайнем случае, хрен на пятки порежу...

Часто вспоминал своё любимое, то, что всякий раз выпарывал, словно нить, из души, к концу жизни распустив её, наверное, до плеч. В нём дрожало, а в глазах смеркалось, когда он, точно заповедую, чеканил слова, которые пронзила безрадостная доказанность этих слов судьбой пропойцы:

— “Деньги — это грязь, которая пристаёт к рукам!” Кто-о сказал?!

— Толстой?

Гордо хмыкал: дескать, не совсем он ещё ханыга и кое в чём шарабанит:

— Остро-о-о-вский!!!

И — презрительно к общему невежеству — шмяк об стол коробок, в котором от удара щелбелят спички, как будто он был полон кузнечиков.

— Ему чё не говреть-то? — стревала бабушка, услышав разговор по-своему. — Когда водярой торгует, вас, дуракох, поит!

— Ты на какого Островского думаешь?! — восклицал Дядька. — Из посёлка который?! А это писатель, мамка. Николай Остро-о-овский! “Как закалялась сталь”.

— Гляди-и, у-умный! — обижалась бабушка. — Лектор вшивый! Тебе не лекции читать — глотку лужёную заткнуть нужно! Вон, пробку от корчаги забить...

Один раз Дядька скоммуниздил у Старухи пульт от японского телевизора, бродил с ним по посёлку:

— Возьми радиотелефон! Возьми радиотелефон!

В математике он и бухой варил отлично! Разбирался в русском языке и неизменно поправлял нас, когда мы “чёкали”:

— Не “чё”, а “што-о”! “Чё” — по-китайски... хм. В школе вас не учат?!

И было в этом жёсткое — и тем удивительное в Дядьке — недовольство нашим разгильдяйством в науке и неуважением к старшим: “Раньше мы здоровались с учительницей через улицу, а после уроков прибежим: дров наколем, воды натаскаем — и никаких нам денег не надо было! Ну, даст присок — дак всё! А сейчас пройдут молчком и посмеются в спину, за всякое... это самое... цену назначают, а колун-то в руках держать не могут!” Зато когда я в сентябре не пошёл с другими в кедровник на Каю, Дядька (он боронил вдоль Мельничной дороги и приехал на реку помыть лицо) никак не мог этого принять.

— Дак школа-то?! — сидя в его грохочущем тракторе, чуть не со слезами кричал я.

Дядька решил мою проблему просто:

— Тыфу на неё!

Он всё ещё чётко, грамотно рисовал. Под его рукой, как под плугом, подробно и резко чернели карандашными черками река, лес, путевый створ, с веткой черёмухи девушка на дебаркадере... Дядька сопел от старания, по своему обыкновению высовывал кончик языка, и похмельный пот, как сок на разрезанной редьке, переночевавшей в русской печи, выдавливался у него на лбу.

— Но-о, выпятил язык на два метра! — походя ворчала бабушка. — Хоть бы шмель, чё ли, сел на него да шарахнул бы покрепче, чтоб месяц гулеванить не мог!

Месяц Дядькиной трезвости в его последние годы казался заоблачным, неземным сроком.

Иногда Дядька останавливался по дороге куда-нибудь, а чаще в никуда, с подлинным участием человека, которому прожить бы день, следил через новый зелёный штaketник, как я вожусь во дворе и, уперев колено в железные рога бензопилы, раз за разом без успеха дёргаю стартёр. Он ревниво критиковал свежую плотницкую работу:

— Какой дурак так прожилыны кладёт?! Надо ж было утопить в столбик! Или говорил:

— Я-то знаю, как дедовскую, — ну, моего отца! — “Дружбу” завести, да не скажу...

Лайчата, объявившиеся на белом свете в Дядькино отсутствие и уже отожравшиеся на молоке и рыбе в двух беспримерно пухлых обалдуев, с утра до вечера спарринговали со шваброй, прислонённой к крыльцу, или наперегонки носились по двору за осенними листиками, первыми в их щенячьей жизни. Но вдруг они бросали свои обычные занятия и, бдитительно завернув хвосты, спешили с групповой разборкой на чей-то неизвестный громкий голос. Едва нанюхав того, кто басил, они со всей пролетарской прямоотой гавкали на этого человека и немедленно сходили с ума, если чужак обеими руками хватался за хлипкий штaketник. Тогда щенки с пузырившейся во рту слюной, ощерив пасти и впусшив загривки, насакивали передними лапами на забор, норовя откусить нос бродяге, а он энергично отдёргивал голову и, взмахивая руками, распялял в комиссарах классовую ненависть. И когда они застреляли лапами между штaketин и пронзительно взывали, прозревая свою близкую смерть, человек снисходил до их крохотного горя и освобождал из ловушки. Они, свиньи неблагодарные, снова кидались на него в клыкостой атаке и, пользуясь тем, что человек замешкался, пытались непременно что-нибудь оторвать от него, но, на свою беду, опять попадались. Так повторялось до тех пор, пока лицо человека не принимало серьёзный вид, а блеск в его глазах не потухал:

— Кобеля-то у меня кто-то порешил! Не знаю, я на Уткина-старика грешу...

И сыпался вповалку с рябиновыми и берёзовыми листьями первый снег, когда в другой раз Дядька сидел на досках у палисадника на фоне этого падающего багряно-жёлтого и однообразно-белого. На оголённой чёрной земле эти смежающиеся в воздухе тона тем структурней и предметней обретали свои личные очертания, что под ненастными облаками, между небом и землёй, в стеклянном коридоре осени человек вместе с затихающей природой тоже напоследок становился выпуклым и рельефным, как оголённый куст, вписанный в общий пейзаж умирания. Нынче шумные комки с потешным соперничеством отгалкивали друг друга, в неразрывном братстве всех живых существ хомутая человека лапами, и от полноты душевной лизали вчерашнего врага в губы, в уши, в лоб, в затылок щекотными языками, пахнувшими парным молоком и нажёванным мякишем. Человек защемлял остроухих лакомщиков руками, притягивая их тепло и лесную свежесть, и, абсолютно трезвый, просвищенный ветром октября, плакал над этой нежностью к нему, проклятому и гонимому. Или он грубо хапал щенка за морду, так что тот тончайше вскрикивал и, напрягаясь взъершённой шеей, как из капкана, стремился поскорее вынуть голову из Дядькиной клешни и скрёб лапами, медленно пятясь от оказавшегося жестоким человека, а тот невозмутимо во-

дил пальцем по собачьему черепу, по эвенкийскому обычаю выщупывая между ушей острую кость — признак редкого охотничьего дара.

— Бельчишек-то ещё не добываешь? — из-за сигающих у его грязного лица лап, хвостов, дурашливо рычащих морд, вообще из-за всей этой беспорядочной суеты вокруг его персоны, šťastливо скалился Дядька, а то толкал в бок бойко рвавшего его рукав щенка с дворняжьим хвостом и такой же дворняжьей кличкой и вопрошал над ним: “Ну, что, варна-ак, будем решать с тобой, а?!” Шарик, дурак дураком, грохался на пол и, развалив задние лапы, в знак обожания и покорности демонстрировал предмет своей растущей мужской гордости. — А то я промышлял на нижней ферме алюминьку, слышу: собака залаяла в ельнике, кто-то понужнул из ружья, потом собака замолчала... Думал — ты-ы!..

О, мы глупо и злобно шутили, когда Дядька тихо отворял дверь и, топчась у порога, подбирал на деревянных клавишах такую верную мелодию, которая без слов сыграла бы его одинокое сердце! И вот в этом-то гнетущем молчании, в котором прокатывался по горлу голодный комок, мы на всю катушку врубали из детской песенку “Ласкового мая”:

*Дядя Миша, дядя Миша,  
Ты мой дядя дорогой,  
Неужели ты не слышишь,  
Как ругают нас с тобой?!..*

Выждав первый куплет, с треском нажатой на “стоп” кнопки, когда на плёнку, словно на саму песню, наезжало резиновое колесо тормоза, Дядька негромко, но строго говорил:

— Опять эту бодягу завели?! Вроде большевики уже...

Зато когда включали на весь двор Высоцкого, подсоединив магнитофон к банной розетке, Дядька, сидя на крыльце, даже забывал курить, может быть, без особой любви слушая, как бард ревет и стонет над посёлком, живёт, уже мёртвый, в этом мире, в скупой памяти людей, всё и всех скоро хоронящих и отвергающих. Но в оконцовке, едва хрипота оседала, уползала обратно в серый от пыли динамик “Рекорда-92” и уже там шелестела дождём по сухим листьям, отображая ход тупой иглы по шелестящей пластинке, с которой мы списывали песни “по звуку”, Дядька поднимал мокрые глаза и уточнял:

— Это же он пел: “Я коней напою, я куплет допою!”? Помню... — Видно было, что эта песня жила с ним, шагала с Дядькой в ногу, на пару, под одной дугой, стремилась в прах, парила над пропастью *по самому по краю*. Но до самой гибели Дядька верил, что ещё немного — и кони вынесут его, и не будет утренней дороги, и саней на белом снегу не будет, и ни колокольчиков, ни нагайки, ни ангелов с Господом, да ничего — не будет, не будет, не будет!

Нет, снег был — белый-белый снег Дядькиной жизни, Дядькиной смерти. Он пошёл с вечера, и к утру заштриховал лес, луг, крыши, красный яр, щербатые берега реки, опустевший Дядькин осинник с неотысканными грибами, кладбищенские памятники и оградки, которые священной рукой дорисовались в поле за селом. Всё вокруг обросло кружевным и праздничным, как детский сад с весёлыми криками и ножничным клацаньем украшают перед Новым годом салфеточным инеем. И даже воздух, казалось, почистился и прозрел с выпавшим снегом. Белый-белый мир! Чётче следы человека, чернее шарк метлы и две полосы отпотевшей дороги, чутче рожденье, большее уход. Скакнёт синица на рябиновую ветку — белый пепел, качнёт ветер телефонный провод — белый прах. Потом белый саван, белая Дядькина рубашка, белый рис куты и впалая, ещё нетронутая снегом чернота могилы, всё разметающей под этим небом, кроме груды ломов и лопат, кочующих с мест последних погребений в печальной эстафете.

## XV

Накануне Дядька торговал две старые косы, вырученные за какую-то шабашку. Его скоробило, как бересту на огне: вечером пожарил на свином сале картошку, а недоедки на ночь вынес со сковородкой в предбанник; ут-

ром сглотал, оцепленную вязкой плёнкой, и сдуру запил из бочки. Всё в нём встало колом и ничего, кроме горячего чая, не принимало. Самого Дядьку, наоборот, безобразно выгнуло: голова и плечи подались вперёд, а живот прикипел к позвоночнику. Руки упали, не нужные более ни для чего, кроме сворачивания бутылочных пробок и шараханья по карманам: ни курева, ни денег у Дядьки теперь никогда не было. Ноги, точно перебитые, подогнулись, упёрлись коленками одна в другую: сыграй с этой костлявой громадой в лапту — и рассыплется человек, как спичечный, у которого деревянные суставы приварены сгоревшими серниками. И так-то он семенил, сгорбленный, на окривевших ногах, руками, будто ветками, нависая над землёй. Жил он по-прежнему в бане, которую строил года два, и сладил что-то сказочное, милое, с окошком на восход. Старуха, измотанная им за эти годы до нервной трясушки, выгнала сожителя бесповоротно: “Иди в свою берлогу!” — а дверь в дом даже днём держала на замочке. Банную лавку Дядька превратил в стол. Ночью спал на полу, подстелив матрас, под которым у него лежало в сборе ружьё, найденное на сенокосе, но уже с отпиленными прикладом и стволами. Днём шатался в поисках работы, быстро угасал, сидел на бетонной плите у магазина, протянув ладонь. Действо это, эта пустая рука резали взор деревенских, и так это, правда, было дико, что среда земного богатства сидит не старик, не калека и ждёт милостыньку. И Дядьку никто не жалел. Женщины плевались: “Всем трудно живётся, чё, ты один такой?!”, а мужики материли: “Да ты совсем, Мишка, придурел!” — и, дав закурить, без оглядки уходили, боясь, что начнёт кланчить на водку. Мы прятались от него в проулке, если нас отправляли за хлебом, и тоже шутались этого прилюдного позора. Но ещё одно, Господи, оправдывало его, когда и обелить-то, казалось, было нечем: выпитив горстку, он всё ж таки отводил голову и закрывал виноватые глаза, как будто хотел убедить всех и сам увериться в том, что рука-то хотя и его, а вот просит-то она помимо его воли... Об удах он в ту осень даже не помышлял; пешню, которую выковал покойничек Лёха-кузнец, не то утопил, не то пропил; лопату где-то бросил, и лёд, на махах ломящий в Лене, уже зажавший в узкую твёрдость берега, ничуть не волновал Дядьку. Да и места его поставов уже застолбили за собой расторопные мужички, сразу исключив этим Дядьку из оборота. Он и сам погнался из жизни очертя голову, и давно преступил заповедную крайность. Ел, торопясь, из чашки с отколупанной эмалировкой, которую Старуха наполняла вчерашними кислыми шами и выставляла на крыльцо, а собачонку, приближившуюся к еде, рвал нещадно. Но и этой даровой манне не нарадовался: Старуха стала кормить щенка в сенцах...

И вот он стоял с косами на плече, как сама смерть, в осеннем вечере с дождём и ветром. За косы он получил на водку, а на закусь булку хлеба, которую поспешно затолкал за пазуху, и уже повернулся на своих косоньких ногах.

— Ты опять загулял, Дядька?!

Мотыляет головой, ищет этот голос в черноте вокруг себя и сопит. На небритом лице, притемнённом крылечным козырьком, лучится улыбка, общее человеческое довольство за трепет к его судьбе.

— Ничё, шас баню направлять пойду! Веник у меня есть: оклямывать-ся надо... — отзывается, уже просветлённый и оттого какой-то весь поздний, предзимний, и в его голосе много выюги и прощальной хрипоты. — Это... — шмыгнув шингалетом калитки, оттуда, из своего сумрака, сверкая глазами, Дядька под конец разгадывает секрет. Он передаёт его, наследованный от отца, племяннику, далёким приветом от деда внуку, служа меж ними живым переходником, потому что самому Дядьке, замкнутому на себе, не на кого переложить это круговое поручительство, некому посвятить брэнное земное знание, которое вот-вот исчезнет с ним: — Вот, помни Дядьку-то! “Дружбу” дедовскую так заведи: выкрути свечку, зачисти шкуркой контакт или прожги в бане на печке, потом капни на головку бензином или солярккой — и снова закрути... Она, искра-то, так злее кусается!..

Ночью ударил мороз, Дядька топил печку щепками, а потом сунул волглый матрас. Он залез наполовину, сразу зачадил, и Дядька, уснув на корточ-

ках перед раскрытой дверцей, захлебнулся чёрным едким дымом, прилетевшим за ним. Обрез его исчез. Хлопья крови краснели на молодом снегу, и бабушка, убиваясь, говорила, что это Старуха оглоушила его поленом и устроила ему такую нелепую погибель. Только Дядьке было уже всё равно. Он лежал в гробу посреди дедовой избы — дремучий, лесной, косопалый, — и за окнами шёл первый без него снег, и мы, как этот нежный снег, приняли Дядькину смерть с отдохновением, вроде нас мучила духота, досадная мокрота в глотке, но вот мы её отперхали, отхаркали, и вздохнулось нам свежее и чище. Но отчего-то с кончиной его, с уходом Дядьки в другой мир не рассветло на этом. И сами мы не стали хоть чуточку добрее к нищим и пропащим, горьким и заблудшим, не сделались хоть самую малость зрячее к этой пьяной, гулёвой, беспутной гольтыбе, которая и до сего толчётся между нами, стынет и стонет на холоде и ветру, мается под грозовым небом. И уже не было в Дядьке никакой былинной мощи, а был он, пожалуй, слаб и шаток в своей смерти. Но и в мёртвом ещё сидело, не покидало гнезда то истерзанное, чем дышала ещё Россия, что дыбило её рвущей губы уздой. И не был он, этот пахотный мужик, её сердцем — её сердце давно нашли и растоптали, потому что оно было слишком большим и красным, — а был он осколком этого поруганного сердца. Уж этот-то осколок не могли найти и растоптать, хотя, оступившись на горле России, всё чудом живой, уже занесли ногу для решающего удара, и она, огромная, пряталась в этих маленьких осколках, в этих мужиках, и каждый из этих осколков, этих мужиков был сам по себе Россией, и пока жили они, была жива и Россия — страна с блуждающим, раздробленным сердцем, которое смертельно опасно хранить в одной груди...

В Дядьке, при всём его пещерном быте, поражала ещё его природная аккуратность.

По зиме, отметав сено с волокуши, он вытрясал труху из валенок и карманов, выколачивал об угол шапку и стёганку, а уж потом шёл в дом. Встав из-за стола или проснувшись поутру — трезвый ли, похмельный ли, — он дотошно разглаживал брюки по складкам и с маниакальной прилежностью заправлял за сапожные голенища, рубаху ошпиывал от хлебных крошек и кошачьей шерсти, пластмассовым бабушкиным гребешком разгребал перед зеркалом поваленные на сторону волосы. Вопрос внешнего и внутреннего порядка всегда волновал его! Торчало что-то в душе, будто чёрная доска испода выломилась от некоего удара и заворотилась крестом, — Дядька искал мира и склада в одежде, пусть расхристанной и жалкой, а принимая за калым кирзовые сапоги, цокал языком, глядя на железные гвоздики в подошве: — Быстро сгниют! Латунные лучше.

Он как будто хотел пережить железо! Или, может быть, его крестьянская основательность, мужицкая вековечность требовали от всех и всего всяческого долготлетия, терпения и пущей крепи для жизни на земле...

Сапоги он не пережил, лишь нашаркал плоские головки гвоздей.

И теперь, когда кирзухи опрокинуты на штакетник, нашлифованные шляпки серебрятся из земной черноты подошв, как звёзды из ночной глубинной темноты неба. Я всё чего-то жду, не решаюсь шагнуть в огромность Дядькиной обуви, чтобы пройти по полю, по жизни, макая эти звёзды-гвозди в грязь, в слякоть, в пепел и боль осиротевшего русского мира.